

"Дружище Тобик (сборник)"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Дружище ТОБИК



РАССКАЗЫ О СОБАКАХ

Москва «Детская литература» 1987

Константин Георгиевич Паустовский

Дружище Тобик

У писателя Александра Степановича Грина был в тихом Старом Крыму невзрачный пёсик-дворняга Тобик. Пёсика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком.

Когда соседской цепной собаке — лохматому Жоре — хозяйка выносила миску с похлёбкой, Тобик продирался в соседский двор через лаз в заборе, но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жориного рыка.

Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но так, чтобы тот не мог его достать, становился перед Жорой на задние лапки и «служил» долго и терпеливо.

Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. Но Жора не давал ему даже понюхать

похлёбки.

За это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика дураком: зря, мол, старается.

Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. Обращаясь к Тобику, он говорил ему: «Дружище!»

Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. Он торопливо лакал похлёбку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. Иной раз даже слёзы появлялись у него на глазах, когда Жора кончал есть похлёбку и тщательно, до блеска вылизывал пустую миску. После этого Жора ещё долго обнюхивал землю вокруг миски — не завалилась ли там какая-нибудь косточка.

— Ну и дурак ваш Тобик, — злорадно говорили Грину соседи. — Нет никакого соображения у этой собаки. На это Грин спокойно отвечал соседям:

— Не дурак, а просто умная и вежливая собака.

В спокойствии гриновского голоса слышался нарастающий гнев, и соседи, всю жизнь привыкшие лезть в чужие дела, уходили, пожимая плечами, — лучше подальше от этого человека.

Я увидел Тобика после смерти Грина. Он ослеп, как говорили, от старости. Он сидел на пороге глинобитного белого дома, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его жёлтых беспомощных глазах. Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошёл ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль.

— Давно он ослеп? — спросил я.

— Да после смерти хозяина. Всё тоскует, всё ждёт.

Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, — это собаки.

Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку. Это было под Москвой в дачной местности Переделкино. Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. Дул сильный, порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем всё чаще падали шишки и тем всё больше разъярялся сеттер. Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал головой и отплёвывался. Потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев и никакие шишки не падали. Он сел среди поля, начал лаять на небо и лаял до рассвета, пока не охрип. По мнению одного поэта — знатока астрономии, он лаял на созвездие Малой Медведицы. Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия.

Выражение «собака — друг человека» безнадёжно устарело. У нас нет ещё слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум — все те великолепные качества, какими обладает собака. Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий собаку, — отпетый негодяй, даже если собака его за это простила.

Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные проявления радости и обиды. Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-

нибудь Бобик бешено мчится со всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека — обыкновенное велосипедное колесо.

Любите собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам троекратной любовью.

Елена Николаевна Верейская

Карай

Я искала себе дачу на лето в небольшом живописном посёлке на Украине. Мне приглянулся маленький домик, весь в зелени, с густо увитой диким виноградом терраской. Когда я открыла калитку, ведущую в сад, она скрипнула, я так и застыла на месте, не решаясь двинуться дальше. Как из-под земли, передо мной вдруг появилось... я не знаю, как назвать это страшное существо! Это была, конечно, собака, но таких мрачных собак я никогда в жизни не видала. Передо мной стоял огромный собачий скелет с поджатым хвостом. Скелет был обтянут взлохмаченной чёрной шкурой, кое-где торчали клочья бурой невылинявшей шерсти. Собака стояла неподвижно и смотрела на меня тёмными, очень умными, но злыми глазами. Она не рычала и не лаяла, она только высоко подняла верхнюю губу и очень выразительно показывала громадные, острые и белые клыки. Я попятилась назад к калитке, и сразу собака сделала шаг вперёд, всё так же глядя мне прямо в глаза и показывая зубы.

— Хозяева! Есть здесь кто-нибудь? — громко крикнула я, боясь сделать движение.

На террасе появилась немолодая женщина, босая, в подоткнутой юбке. Она вытирала руки и замахнулась полотенцем на собаку.



— Пошёл вон! — крикнула она. — Вы не становитесь к нему спиной, он может цапнуть вас за икру.

Страшная собака, продолжая смотреть на меня, задом отступила на несколько шагов.

— Зачем вы держите такое чудовище? — спросила я.

— А разве вы не знаете, что у нас после войны много бандитов? А Карайка никого не впустит! Незаметно подкрадётся сзади — хватать за ногу! Такая уж у него повадка.

— Так к вам же и по-хорошему никто войти не может! — сказала я.

— К нам никто и не ходит, — спокойно ответила женщина. — А вам что от меня надо?

— Да вот ищу дачу, и понравился мне ваш домик. Не сдадите на лето? — спросила я.

— А чего же? Сдам. Сын уехал с экспедицией рабочим, я одна и в сараюшке проживу. Сдам. Показать дом? — Она очень, видимо, обрадовалась.

— Покажите, — сказала я. — А ваше это чудище меня сзади не цапнет?

— А чего же? — равнодушно ответила она. — Цапнет. Вы идите вперёд, а я за вами — и отгоню его, если что.

Домик внутри оказался чистеньким, но более чем скромным. Я поняла, что хозяйка очень бедствует. О цене мы договорились без труда.

— Всё мне подходит, но вот ваш пёс... У меня два сына девяти и шести лет. Я боюсь за них, очень уж страшный пёс!

— А может, он привыкнет — и ничего... — не совсем уверенно ответила она. — Мой сын его нарочно злым растил.

— Как нарочно злым растил? — не поняла я.

— А так. К ласке не приучал. Бил часто. А то, бывало, Карай ещё щенком был, заснёт на травке, а мой Гранька накроет его железным корытом и ну дубасить по корыту молотком.

— Зачем?! — ужаснулась я.

— А чтоб злей был. Мы очень бандитов боялись.

— А почему он такой тощий? Вы его не кормите?

— А чем мне его кормить? Собака — она себе пищу пусть сама добывает... — Хозяйка горестно вздохнула.

А я подумала: «Хорошо, что этот Гранька уехал, он для моих мальчиков был бы пострашнее, чем этот пёс».

Мы спустились со ступенек терраски. Я взглянула на Карая, сидевшего в стороне. Встретив мой взгляд, он медленно показал мне клыки. Я на минутку заколебалась, но решила:

— Хорошо. Беру дачу. Завтра перееедем. Будьте дома.

— Буду, буду! — радостно ответила хозяйка.

Надо сказать, что и я и мои сыновья всегда очень любили и до сих пор любим собак. Судьба Карая, которого нарочно растили злым, меня тронула и заинтересовала. Я подробно рассказала мальчишкам о своём первом знакомстве с этим страшным, даже непохожим на собаку существом, и мы решили: займёмся укрощением «дикого зверя».

— Ребята, — сказала я, — вы только первое время его не трогайте, близко к нему не подходите и старайтесь мимо него бегом не бегать. Начнём с того, что накормим его. Это изголодавшийся, озлобленный пёс, его только били, и он понятия не имеет о том, что такое ласка.

К нашему приезду хозяйка посадила Карая на цепь около убогой, полуразвалившейся будки. Стоило кому-нибудь из нас сделать шаг в сторону будки, как Карай обнажал свои огромные клыки и, пятясь задом, забирался в своё невзрачное жильё. Днём я взяла лопот хлеба и подошла к будке, протягивая ему хлеб.

— Карай, — говорила я ласково, — ну возьми! Ты же хороший пёс, мы непременно будем друзьями. Возьми!

Карай не брал хлеба, а только жадными глазами смотрел на него. Я подошла ближе. Он ощетинился, показал зубы и попятился. Я положила хлеб у своих ног на землю, не двигаясь с места. Карай смотрел на хлеб, но не выползал из будки. Я отступила на несколько шагов. Тогда пёс одним рывком выскочил, схватил хлеб и скрылся в будке.

После обеда я налила плошку супа, накрошила в неё хлеба и смело пошла к будке. Позвала пса, поставив плошку у своих ног, но он не вышел из своего логова, пока я снова не отошла на несколько шагов. Тогда Карай, прижимаясь животом к земле, подполз к плошке и, прежде чем начать есть, насторожённо посмотрел на меня.

— Ешь, Караюшка, ешь! — сказала я, продолжая стоять на том же месте.

Карай начал жадно лакать, но после каждого двух-трёх глотков вскидывал на меня испытующий взгляд.

— Как же искалечили тебя, бедняга! Ешь, не бойся, никто тебя не тронет.

Пока пёс не доел суп и тщательно не вылизал плошку, я не отошла. Мои мальчики стояли в сторонке и наблюдали эту сцену.

Вечером тот же манёвр с ломтём хлеба проделали мальчики. Когда они по очереди приближались к будке, Карай уползал в неё и показывал зубы. Когда клали хлеб на траву и отступали, он выскакивал и хватал корм.

Следующим утром мы продолжали приручение «дикого зверя». Вечером Коля и Орик прибежали ко мне и, захлёбываясь от радости, ещё издали кричали:

— Мама! Мама! Он из рук хлеб не берёт, но зубы не скалит!

— Это уже большое достижение! — обрадовалась я. Через день я попросила хозяйку спустить Карая с цепи.

Я была уверена, что он уже не станет хватать нас сзади за икры. Хозяйка сердилась на нас:

— Чего вы мне собаку портите? Вот придут воры и вас самих обокрадут, увидите!

Но мы с мальчиками только смеялись и придумали новый манёвр: решили заставить Карая взять хлеб из рук. Смело подойдя к собаке и приветливо разговаривая с ней, я левой рукой протянула лопот хлеба и остановилась. Карай не ощетинился и не обнажил клыков, но долго не решался сделать шаг ко мне и взять хлеб. Он стоял совсем близко и всё время переводил взгляд умных глаз с хлеба на моё лицо и обратно.

— Возьми, Карайка, возьми! — просила я.

Когда пёс наконец решился и осторожно взял хлеб в зубы, я попыталась быстрым движением

правой руки ласково погладить его голову. Но он выронил хлеб, резко отскочил назад и снова показал мне зубы.

— Глупый, — сказала я, — ты думаешь, человек поднимает руку только для удара? Ну, смотри! — и, подняв лопот, снова протянула его левой рукой, а правую спрятала за спину.

Карай не сразу решился снова взять хлеб, но голод не тётка... Он схватил хлеб и бросился бежать от меня.

В промежутках между «уроками», как мы с детьми называли каждое кормление Карая, мы всё время наблюдали за ним. А он наблюдал за нами. Это была своего рода игра. Пёс весь день не выпускал нас из своего поля зрения. Если мы сидели на террасе, он усаживался недалеко от лесенки и не спускал с нас глаз. В его глазах мы видели недоумение и насторожённость. Иногда я шила, Орик рисовал, а Коля читал нам что-нибудь вслух, и казалось, что пёс тоже слушает. Он уже не скалил зубы, но близко никого не подпускал.

Если мы втроём бродили по участку, он неизменно следовал за нами сзади или в нескольких шагах сбоку. Остановимся мы — остановится и он. Он изучал нас. Как-то я споткнулась о не замеченную мной в траве тонкую сухую палку и чуть не упала. Я подняла палку с земли, и Карай сразу оскалится и отскочил одним прыжком.

— Дурачок, да что ты вообразил? — засмеялась я, разломала о колено палку на куски и далеко забросила их, а сама решительно пошла к нему, протягивая вперёд раскрытые ладони: — Видишь?

Верхняя губа пса, подрагивая, опустилась и скрыла зубы, он вытянул морду и потянул носом воздух, словно принюхиваясь к моим ладоням, но всё же опасливо попятился. Я не стала преследовать его, вернулась к мальчикам, и мы пошли дальше. Пошёл за нами и Карай.

Это укрощение «дикого зверя» очень занимало нас троих, и темой наших разговоров в те дни только и была эта собака.

Наконец настал момент, когда мне удалось, давая Караю хлеб, быстро провести ладонью по его голове. Он явно был изумлён, растерян и посмотрел на меня вопросительно. Я поняла: победа близка!

Произошла же она так, как мы даже не могли ожидать.

В конце шестого дня нашей жизни на даче я сидела на террасе и читала. Мальчики играли в саду. По ступенькам лесенки вдруг застучали когти. Я подняла голову. Медленно и осторожно Карай поднимался на террасу. Раньше он никогда не бывал на ней. Он переступал со ступеньки на ступеньку, не отрывая напряжённого взгляда от моего лица. Я отложила книгу в сторону.

— Караюшка, — весело сказала я, — ну, иди же ко мне! — и похлопала ладонью себя по коленке.

Пёс уселся на верхней ступеньке, в нескольких шагах от меня, продолжая неотрывно смотреть мне прямо в глаза.

— Ну, подойди же ближе! — Я всё хлопала себя по коленке и вся наклонилась вперёд. — Давай мириться, хороший ты пёс! Ну! Ближе!

Он всё смотрел мне в глаза, и в его умных глазах я читала нерешительность и вопрос. С минуты мы в упор смотрели друг на друга. Он встал и, переступив два раза, снова сел. Нас разделяли шага три.

— Сюда! — твёрдо сказала я, указывая ему пальцем прямо перед собой.

Карай вдруг поднялся, приблизился ко мне вплотную, решительно положил правую лапу на моё колено и на лапу положил голову.

Значит, полное и безграничное доверие!!!

Лепеча все ласковые слова, какие я знала, я гладила его голову, водила ладонью по его глазам, трепала за уши — Карай сидел неподвижно и только часто дышал.

— Мальчики! Идите сюда скорей! — крикнула я в сад.

Пёс опасливо скосил глаза на лесенку, когда по ней, крича от восторга, взбегали Коля и Орик. Я бережно подсунула руку под морду нашего нового друга и подняла его голову.

— Погладьте его. По очереди! — сказала я.

Карай резко вздрогнул, когда Колина рука коснулась его лба. Он ещё инстинктивно боялся человеческих рук. Но через минуту мальчишки бурно ласкали его, а пёс лихорадочно стучал хвостом по полу, как-то жалобно и радостно повизгивал и старался лизнуть каждого из нас в лицо.

Мы все четверо чувствовали себя счастливыми!

— Испортили собаку! Совсем испортили собаку! — ворчала хозяйка, когда мои мальчишки гонялись наперегонки с Караем по всему участку. — Вот обокрадут вас, тогда увидите, как собак баловать! Ещё посмотрим, что Гранька скажет. Собака-то его!

Мы не обращали внимания на её воркотню. Я знала, что никто нас не обокрадёт: мы спали с открытыми настежь окнами, а Карай всю ночь до самого рассвета медленным шагом ходил вокруг дома. Мы знали: теперь Карай умеет отличать врага от друга! До Граньки нам было мало дела.

Через некоторое время в огромной, сильной собаке с лоснящейся гладкой шерстью трудно было узнать то страшное существо, которое встретило меня у калитки. И чего-чего с ним не проделывали мои мальчишки! Они садились на него верхом, они возились с ним, вместе катались по траве, — и всё было для него радостью.

Однажды я услышала из сада голос Коли:

— Орик! Давай Караю удовольствие накачивать!

— Давай! — отозвался Орик. Я выглянула в сад.

— Ребята! Что вы делаете?!

На дорожке крутился Карай, стараясь вырваться от мальчишек, а они с азартом, схватив его за хвост, изо всех сил мотали пса из стороны в сторону. Услышав мой окрик, они отпустили Карая, и тот бросился ко мне.

— Мама! — заговорил Коля. — Мы Карайке удовольствие накачиваем!

— Вы с ума сошли! Другой пёс загрыз бы вас! — возмутилась я.

— Почему? — Ребята искренне удивились. — Ведь когда собака радуется, она машет хвостом! Значит, если мы будем её хвостом махать, ей будет радостно!

Я засмеялась.

— Когда вы радуетесь, вы прыгаете. Значит, если кто-нибудь станет вас вверх подбрасывать и вы будете падать и ушибаться, вам тоже будет радостно? Нет уж, предоставьте Карая радоваться самому! Пойдёмте лучше гулять!

Теперь Карай — к великому неудовольствию хозяйки: «А вдруг сейчас воры придут!» — сопровождал нас в прогулках. Он со всех ног уносился далеко вперёд, потом мчался обратно — и обязательно ему надо было по очереди приласкаться ко всем троем, чтобы никого не обидеть, — и снова летел вперёд.

Однажды мы забрели довольно далеко и проходили мимо какой-то деревни. Вдруг из-за околицы вырвалась целая стая дворняжек и с неистовым разноголосым лаем бросилась нам навстречу. Мы невольно остановились. Но тут произошло неожиданное. Плотнo упираясь в землю ногами, между нами и собаками встал Карай. Хвост его вытянулся струной, шерсть вздыбилась, он молча смотрел на приближающуюся свору. Он стоял к нам спиной, и мы не видели его морды, но хорошо знали: он поднял верхнюю губу и показывает врагам свои страшные клыки.

И, словно по команде, все собаки с разбегу внезапно остановились, оседая на задние ноги, и, как одна, умолкли. С минуту они так и стояли, не сводя глаз с неподвижного Карая, потом, тоже как по команде, одновременно поджали хвосты, повернулись и трусцой побежали обратно к деревне. У них был такой явно сконфуженный вид, что мы все трое расхохотались.



Карай стоял в той же позе, пока последняя собака не скрылась за домами. Тогда он опустил струной вытянутый хвост, взъерошенная шерсть улеглась, и он оглянулся на нас.

У него была такая морда, что нам показалось — и он смеётся вместе с нами.

Во всём посёлке знали нрав Карая, и к хозяйке редко кто заходил. А к нам, конечно, приезжали гости. Встречал их Карай приблизительно так же, как встретил вначале меня, но он был умён и, увидев, как радостно мы приветствуем наших друзей, сразу понимал: этим клыки показывать незачем. Он только отходил в сторону и ласкать себя никому не давал. Когда же приехала к нам из города погостить моя молоденькая племянница Ниночка и Карай увидел, как мальчики, ликуя, повисли у неё на шее, он сразу понял: это друг! И с первых же дней привязался к ней так же беззаветно, как к нам троим.

Лето проходило. Приближалась осень, и скоро мы должны были возвращаться в Ленинград.

— А как же Карай? — с тревогой спрашивали мальчики. «А как же Карай?» — думала и я... В Ленинград взять его невозможно, да и хозяйка не отдаст. А оставлять его одиноким здесь, чтобы снова — побои и голод... Что же делать?

Вернулся из экспедиции хозяйский сын Гранька. Тот самый Гранька, который нарочно растил злого пса. Это был невзрачный парень с маленькими недобрыми глазками. Мы с ребятами совсем приуныли...

Приуныл и Карай. Он не показывал хозяину своих страшных клыков, не проявил никакой радости от встречи с ним и явно сторонился и избегал его.

— На что вы мне собаку испортили? — грубо набросился на нас Гранька вскоре после своего возвращения.

Мы пили чай на террасе, а Карай грустно лежал у моих ног. Услышав своё имя, он резко вздрогнул.

— Был хороший сторож, а теперь на что похож? — продолжал Гранька.

— Он и сейчас прекрасно сторожит, — возразила я.

— Ну да! — оборвал меня Гранька. — Раскормили, как борова, не нужен мне такой. Либо увозите куда хотите, либо я его всё равно пристрелю. Не стану я такую дрянь кормить.

Я тихо ахнула. Орик всхлипнул и разревелся. Всхлипнул и неслышно заплакал Коля. И тут раздался звонкий голос Ниночки:

— Я его возьму! Я уговорю дедушку и бабушку! Мы же теперь переехали, у нас отдельный домик в саду, а кругом забор! Они согласятся, я уговорю их... — Ниночкин голос задрожал.

Карай понял, о ком речь. Он вдруг встал на ноги и положил голову мне на колени. Тут и у меня защекотало в горле. Гранька сразу учёл общее настроение.

— Ишь какая, — нагло обратился он к Ниночке, — что же, я свою собаку задаром отдам? Испортили моего выученика, да ещё забрать хотят. Платите деньги, тогда берите.

— Сколько? — растерялась Ниночка.

Гранька запросил какую-то нелепо большую цену. Я возмутилась, произошёл короткий торг, и сделка была завершена. Цена была неслыханная, но... Карай был нам дороже.

На другой же день мы покинули дачу и переехали к Ниночкиным родным. Переехал с нами и Карай. Пока мы укладывали вещи, он ни на шаг не отходил от детей, и у него был крайне

растерянный вид. Он ещё не понимал, что происходит... Но когда он понял и с ошейником на цепочке вошёл с нами в вагон, восторгу его не было предела.

Через неделю мы уехали в Ленинград. Карай остался у Ниночки. Мои мальчики наперебой утешали его:

— Карайка, мы на будущее лето опять приедем! Ты жди нас!

Михаил Михайлович Пришвин

Лада

Три года тому назад был я в Завидове, в хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовалую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у неё вышла в мать, жёлто-пегого пойнтера, а чутьё [1] и глаза — в отца, чёрного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-жёлтыми пятнами, а три точки на голове — глаза и чутьё — как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, весёлая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась, я ещё раз дунул — она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа.

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил моё внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник. — Ты, дядя Николай, главное, хлещи её, хвоци как ни можно сильнее, она всё поймёт.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать её поиск, чутьё. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую — самое большое пальцем грозили. В один день умная собака поняла всю нашу премудрость, а чутьё, наверно, ей досталось от деда, Камбиза: чутьё небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы её звать, а Находкой: настоящая находка! — повторял Камолов.

И так мы, оба очень радостные, приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивлённо хозяин. Глянули мы — и видим: действительно с нами нет Лады.

Всё время шла с нами, а как вот к дому подошла, словно провалилась сквозь землю. Звали,

манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже не сладко. Так нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать — нет, не берёт.

— Только собрались Находкой назвать, — сказал Камолов.

— Не иначе как леший увёл! — посмеялся на прощание племянник.



И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше её не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил её, а мы ласкались и охотились, вот она и пряталась, вот и всё... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хвощи как ни можно сильнее, она всё поймёт!» И поняла!

вернуться

1

Чутьё — так называют охотники нос у собаки.

Георгий Алексеевич Скребицкий

Джек

Мы с братом Серёжей ложились спать.

Вдруг дверь растворилась и вошёл папа, а следом за ним — большая красивая собака, белая с тёмно-коричневыми пятнами на боках. Морда у неё тоже была коричневая; огромные уши свисали вниз.

— Папа, откуда? Это наша будет? Как её звать? — закричали мы, вскакивая с постелей и бросаясь к собаке.

Пёс, немного смущённый такой бурной встречей, всё же дружелюбно завилял хвостом и позволил себя погладить. Он даже обнюхал мою руку и лизнул её мягким розовым языком.

— Вот и мы завели собаку, — сказал папа. — А теперь марш по кроватям! А то придёт мама, увидит, что вы в одних рубашках бегаєте, и задаст нам.

Мы залезли обратно в кровати, а папа уселся на стул.

— Джек, сядь, сядь здесь, — сказал он собаке, указывая на пол.

Джек сел рядом с папой и подал ему лапу.

— Здравствуй, — сказал папа, потряс лапу и снял её с колен, но Джек сейчас же подал её опять.

Так он «здоровался», наверное, раз десять подряд. Папа делал вид, что сердится — снимал лапу, Джек подавал снова, а мы смеялись.

— Довольно, — сказал наконец папа. — Ложись.

Джек послушно улёгся у его ног и только искоса поглядывал на папу да слегка постукивал по полу хвостом.

Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая, а из-под неё проступали сильные мускулы. Папа сказал, что это охотничья собака, легавая. С легавыми собаками можно охотиться только за дичью — за разными птицами, а на зайцев или лисиц нельзя.

— Вот придёт август, наступит время охоты, мы и пойдём с ним уток стрелять. Ну, пора спать, а то уже поздно.

Папа окликнул пса и вышел с ним из комнаты.

На следующее утро мы встали рано, напились поскорее чаю и отправились гулять с Джеком.

Он весело бегал по высокой, густой траве, между кустами, вилял хвостом, ласкался к нам и вообще чувствовал себя на новом месте как дома.

Набегавшись вдоволь, мы решили идти играть в «охотников».

Джек тоже последовал за нами. Мы сделали из обруча от бочки два лука, выстругали стрелы и пошли на «охоту».

Посреди сада из травы виднелся небольшой пенёк. Издали он был очень похож на зайца. По бокам у него торчали два сучка, будто уши.

Первым стрельнул в него Серёжа. Стрела ударилась о пенёк, отскочила и упала в траву. В тот же миг Джек бросился к стреле, схватил её в зубы и, виляя хвостом, принёс и подал нам. Мы были этим очень довольны. Пустили стрелу опять, и Джек снова принёс её.

С тех пор пёс каждый день принимал участие в нашей стрельбе и подавал нам стрелы.

Очень скоро мы узнали, что Джек подаёт не только стрелы, но и любую вещь, которую ему бросишь: палку, шапку, мячик... А иногда он притаскивал и такие вещи, о которых его вовсе никто не просил. Например, побежит в дом и принесёт из передней калошу.

— Зачем ты её принёс — ведь сухо совсем! Неси, неси назад! — смеялись мы.

Джек скачет вокруг, суёт в руки калошу и, видимо, вовсе не собирается нести её на место. Приходилось относить самим.

Джек очень любил с нами ходить купаться. Бывало, только начнём собираться, а он уж тут как тут — прыгает, вертится, будто торопит нас.

Речка в том месте, где мы купались, была у берега мелкая. Мы с хохотом и визгом барахтались в воде, брызгались, гонялись друг за другом. И Джек тоже залезал в воду, носился вместе с нами; если же ему кидали в речку палку — бросался за нею, плыл, потом брал в зубы и возвращался на берег. Часто в порыве веселья он хватал что-нибудь из нашей одежды и пускался бежать, мы же гонялись за ним по лугу, стараясь отнять кепку или рубашку.

А один раз вот что случилось.

Купались мы на речке вместе с папой. Папа плавал очень хорошо. Он переплыл на другую сторону и стал звать к себе Джека. Пёс в это время играл с нами. Но, как только он услышал папин голос, сразу насторожился, бросился в воду, потом неожиданно вернулся, схватил в зубы папину одежду, и не успели мы опомниться, как он уже плыл на ту сторону. Следом за ним, раздуваясь, как большой белый пузырь, тащилась по воде рубашка, а брюки уже совсем намокли, скрылись под водой и Джек едва их придерживал зубами за самый кончик.

Мы просто замерли на месте, боясь, что он упустит одежду и она утонет. Однако Джек ничего не растерял и благополучно переплыл на другую сторону.

Пришлось папе плыть обратно, держа в руке одежду. Просохнуть она, конечно, не успела, и, когда мы вернулись домой, мама, увидев папу, так и ахнула:

— Что случилось? Почему ты в таком виде? Ты что, в речку упал? — Но, узнав, в чём дело, потом долго смеялась вместе с нами.

К Джеку мы очень привыкли, не расставались с ним целые дни и всё мечтали о том, когда же настанет август и папа с Джеком пойдёт на охоту. Папа обещал, что и нас тоже возьмёт с собой.

Каждое утро мы первым делом бежали к отрывному календарю, срывали старый листок и считали, сколько ещё листков осталось до августа.

Наконец остался один, последний.

В этот день папа, как только вернулся с работы и пообедал, многозначительно взглянул на нас и сказал:

— Ну-с, кто желает идти со мной готовиться к завтрашней охоте?

Конечно, повторять приглашение не пришлось. Мы с Серёжей бросились со всех ног в кабинет и уселись возле письменного стола.

Папа достал из ящика все охотничьи припасы: порох, дробь, гильзы, пыжи — и начал набивать патроны.

Мы смотрели на эти приготовления затаив дыхание. Наконец патроны были набиты и

аккуратно вставлены в широкий пояс с узенькими кармашками для каждого патрона. Такой пояс называется «патронташ».

Повесив патронташ на гвоздик, папа вынул из шкафа чехол и не торопясь достал оттуда самую интересную вещь — ружьё. Оно было двуствольное, то есть с двумя стволами.

В каждый ствол вставлялся патрон, так что из такого ружья можно выстрелить два раза: сначала из одного ствола, а если промахнёшься, то, не перезаряжая, сейчас же и из другого. Ружьё было очень красивое, с золотыми украшениями.

Мы осторожно потрогали его и даже попытались прицелиться, но оно оказалось слишком тяжёлым.

Когда папа набивал патроны, Джек спокойно лежал в уголке на своём коврикe. Но как только он увидел ружьё — вскочил с места, начал скакать, прыгать около папы и всем своим видом показывал, что он сейчас же готов идти на охоту. Потом, не зная, как ещё выразить свою радость, умчался в столовую, притащил с дивана подушку и так начал её трясти, что только пух полетел во все стороны.

— Что такое у вас творится? — удивилась мама, входя в кабинет.

Она отняла у Джека подушку и унесла на место.

На следующий день было воскресенье. Мы встали пораньше, поскорее оделись и уже ни на шаг не отставали от папы. А он, как нарочно, одевался и завтракал очень медленно.

Наконец папа собрался. Он надел куртку, высокие сапоги, подпоясался патронташем и взял в руки ружьё.

Джек, всё время вертевшийся у него под ногами, пулей вылетел во двор и, радостно взвизгивая, начал носиться вокруг запряжённой лошади. А потом со всего размаха вскочил на телегу и сел.

Папа и мы тоже взобрались на телегу и тронулись в путь.

— До свиданья, смотрите с пустыми руками не возвращайтесь! — смеясь, кричала нам вдогонку мама, стоя на крыльце.

Через десять минут мы уже выехали из нашего городка и покатали по гладкой просёлочной дороге, через поле, через лесок — туда, где ещё издали поблёскивала речка и виднелась обсаженная вёслами мельница.

От этой мельницы вверх по берегу реки густо росли камыши и тянулось широкое болото. Там водились дикие утки, длинноносые болотные кулики — бекасы — и другая дичь.

Приехав на мельницу, папа оставил лошадь, и мы отправились на болото.

Пока мы шли по дороге к болоту, Джек держался рядом с папой и всё поглядывал на него, будто спрашивая, не пора ли бежать вперёд.

Наконец подошли к самому болоту. Тут папа остановился, подтянул повыше сапоги, зарядил ружьё, закурил и тогда только скомандовал:

— Джек, вперёд!

Пёс, видимо, только этого и ждал. Он бросился со всех ног в болото, так что брызги во все стороны полетели. Отбежав шагов двадцать, Джек приостановился и начал бегать то вправо, то влево, к чему-то принюхиваясь.

Он искал дичь. Папа не спеша, громко шлёпая по воде сапогами, шёл за собакой. А мы шли сзади, следом за папой.

Вдруг Джек заволновался, забегал быстрее, а потом сразу как-то весь вытянулся и медленно-медленно стал подвигаться вперёд. Так он сделал несколько шагов и остановился. Он стоял не двигаясь, как мёртвый, весь вытянувшись в струну. Даже хвост вытянулся, и только кончик его от сильного напряжения мелко-мелко дрожал.

Папа быстро подошёл к собаке, приподнял ружьё и скомандовал:

— Вперёд!

Джек переступил шаг и опять остановился.

— Вперёд, вперёд! — ещё раз приказал папа.

Джек сделал ещё шаг, другой... Вдруг впереди него в камышах что-то зашумело, захлопало, оттуда вылетела большая дикая утка.

Папа вскинул ружьё, выстрелил.

Утка как-то сразу подалась вперёд, перевернулась в воздухе и тяжело шлёпнулась в воду.

А Джек всё стоял на месте, будто замер.

— Подай, подай её сюда! — весело крикнул ему папа. Тут Джек сразу ожил. Он бросился через болото прямо в речку и поплыл за уткой.

Вот она уже совсем рядом. Джек раскрыл рот, чтобы схватить её. Вдруг всплеск воды — и утки нет! Джек удивлённо оглянулся: куда же она делась?

— Нырнула! Раненая, значит! — с досадой воскликнул папа. — Забьётся теперь в камыши, её и не найдёшь.

В это время утка вынырнула в нескольких шагах от Джека. Пёс быстро поплыл к ней, но, как только он приблизился, утка вновь нырнула. Так повторялось несколько раз.

Мы стояли в болоте, у самого края воды, и ничем не могли помочь Джеку. Стрелять ещё раз в утку папа боялся, чтобы не застрелить случайно и Джека. А тот никак не мог поймать на воде увёртливую птицу. Зато он и не подпускал её к густым зарослям камышей, а отжимал всё дальше и дальше, на чистую воду.

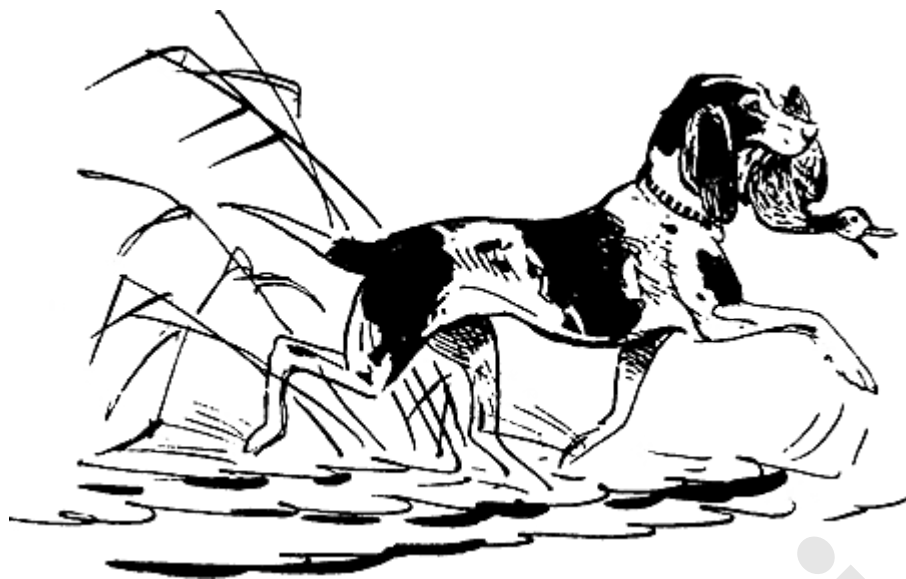
Наконец утка вынырнула у самого носа Джека и сейчас же вновь скрылась под водой. В тот же миг Джек тоже исчез.

Через секунду он опять показался на поверхности, держа во рту пойманную утку, и поплыл к берегу. Мы бросились к нему, чтобы поскорее взять у него добычу. Но Джек сердито покосился на нас, даже заворчал и, обежав кругом, подал утку папе прямо в руки.

— Молодец, молодец! — похвалил папа, беря у него дичь. — Посмотрите, ребята, как он

осторожно её принёс — ни одного пёрышка не помял!

Мы подбежали к папе и стали осматривать утку. Она была живая и даже почти не ранена. Дробь только слегка зацепила ей крыло, оттого она и не смогла дальше лететь.



— Папа, можно взять её домой? Пусть у нас живёт! — попросили мы.

— Ну что ж, берите. Только несите поосторожней, чтобы она у вас не вырвалась.

Мы пошли дальше. Джек лазил по болоту, искал дичь, а папа стрелял. Но нам уже это было не так интересно. Хотелось поскорее домой, чтобы устроить нашу пленницу.

Когда мы вернулись с охоты, то сейчас же принялись устраивать для неё помещение. Мы отгородили в сарае уголок, поставили туда таз с водой и посадили утку.

Первые дни она дичилась. Всё сидела, забившись в угол, почти ничего не ела и не купалась. Но постепенно наша утка стала привыкать. Она уже не бежала и не пряталась, когда мы входили в сарай, а, наоборот, даже шла к нам навстречу и охотно ела мочёный хлеб, который мы ей приносили.

Скоро утка стала совсем ручная. Она ходила по двору вместе с домашними утками, никого не боялась и не дичилась. Только одного Джека утка сразу невзлюбила, наверное за то, что он гонялся за ней по болоту. Когда Джек случайно проходил мимо, утка растопыривала перья, злобно шипела и всё старалась ущипнуть его за лапу или за хвост.

Но Джек не обращал на неё никакого внимания. После того как она поселилась в сарае и ходила по двору вместе с домашними утками, для Джека она перестала быть дичью и потеряла всякий интерес.

Вообще домашней птицей Джек совсем не интересовался. Зато на охоте искал дичь с большим увлечением. Он мог по целым дням без усталости в жару и в дождь рыскать по полю, отыскивая перепелов, или поздней осенью, в холод лазить по болоту за утками и, казалось, никогда не уставал.

Джек был прекрасной охотничьей собакой. Он прожил у нас очень долго, до глубокой старости. Сперва с ним охотился отец, а потом мы с братом.

Когда Джек вовсе постарел и не мог разыскивать дичь, его сменила другая охотничья собака. К тому времени Джек уже плохо видел и слышал, а его когда-то коричневая морда стала совсем седой.

Большую часть дня он спал, лёжа на солнышке на своей подстилке или возле печки.

Оживлялся Джек, только когда мы собирались на охоту: надевали сапоги, охотничьи куртки, брали ружья. Тут старый Джек приходил в волнение. Он начинал бестолково суетиться и бегать, тоже, вероятно, как в былое время, собираясь на охоту. Но его никто не брал.

— Дома, дома, старенький, оставайся! — ласково говорил ему папа и гладил его поседевшую голову.

Джек будто понимал, что ему говорят. Он взглядывал на папу своими умными, выцветшими от старости глазами, вздыхал и уныло плёлся на свою подстилку к печке.

Мне было очень жаль старого пса, и я иногда всё-таки ходил с ним на охоту, но уже не для своего, а для его удовольствия.

Джек недавно потерял чутьё и никакой дичи найти уже не мог. Но зато он делал отличные стойки на всяких птичек, а когда птичка взлетала, стремглав бросался за нею, стараясь поймать.

Он делал стойки не только на птичек, а даже на бабочек, на стрекоз, на лягушек — вообще на всё живое, что ему попадалось на глаза. Конечно, на такую «охоту» ружья я не брал.

Мы бродили до тех пор, пока Джек не уставал, и тогда возвращались домой — правда, без дичи, но зато очень довольные проведённым днём.

Борис Александрович Емельянов

Кутька

На охоту на Урал мы, пятеро товарищей, взяли с собой четырёх охотничьих псов. Вот они были какие: Томка, Васька, Грайка и Бумба. Только у одного Гайдара не было своей собаки.

Жизнь у нас сначала была не очень весёлая: собаки наши перегрызлись между собой, а из-за собак переругались и охотники. Известно, что каждому охотнику своя собака дороже.

Мы даже стрелять стали один хуже другого, перестали петь весёлые песни и уже подумывали: а не разъехаться ли нам подбру-поздорову в разные стороны?

Хмурые и озабоченные, сидели мы как-то вечером возле нашего охотничьего костра, друг на друга не смотрели и молчали.

Один Гайдар чему-то непонятному улыбался и тихо пел песню о далёкой, чужой деревне, в которой мужики дерутся, топорами секутся. Конечно, им трудно от этого жить на свете.

Ночная птица кричала за лесом, чайник шипел на костре. Гайдар оглядел нас, кашлянул, сдвинул на затылок кубанку и закурил трубку.

— Скучно мне, товарищи, — сказал он, вздыхая. — Надоело мне охотиться с чужими собаками, и в общей собачьей ссоре я принять участие не могу, так как сам я человек бессобачный...

— Ну и что же теперь делать? — спросили мы.

— Ничего не делать, — сказал Гайдар. — Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Я уже присмотрел в посёлке злющего беспризорного кобеля ростом с телёнка и скоро заведу себе собственную собаку.

Тут мы все стали упрашивать Гайдара не заводить в лагере пятого пса — и от четырёх житья нет. Но Гайдар был непреклонен и утром на лодке уехал в посёлок за собакой, а мы стали укладывать чемоданы и собираться обратно в Москву.

День прошёл тускло.

Вечером мы слышали, как за ближней песчаной косой на реке сильно стучат вёсла и скрипят уключины. Вскоре стал слышен голос Гайдара:

Море злится. Ветер дует.
Солнце с тучами балует.
Волны с пеной в берег бьют.
Рыбы вовсе не клюют.
Впрочем, дело поправимо:
Пронесутся тучи мимо,
Кончит ветер баловать
И домой умчится спать.



Лодка вышла из-за косы. Гайдар стоял в ней во весь рост и махал нам руками.

— Эгей! Эгей, друзья! — кричал он. — Вот я и вернулся! А какой нам от этого был прок и какая радость? Мы даже к берегу не подошли. Слышим, кричит Гайдар:

— Вперёд! Назад! Вперёд! Назад!

Видим — появляется он из-за кустов и тащит два большущих арбуза, а собаки не видно.

— Где же собака? — спросили мы с надеждой. — Может быть, не привёз?

— Как же такое — не привёз! — ответил Гайдар строго. — Вот она, зверь-собака, чудовище!

И тут все увидели: бежит по песку Кутька. Ростом он был не с телёнка, а с самую обыкновенную сахарницу, хвост — крючком, уши — конвертиком.

Наши злые большие собаки учуяли Кутьку и сразу выставили головы, каждая из своего куста, где были привязаны: видим, мол, тебя, тако-сякого, и, того и гляди, сожрём. А Кутька покрутился около нас, повилял хвостом и шастнул в кусты к собакам.

— Пропал щенок! — ахнул я. — Загрызут его теперь злющие псы.

— Чудак! — спокойно сказал Гайдар. — Кто посмеет тронуть такую собаку? Это пёс неустрашимой и грозной породы — циммерман-миберман. Слышали про такую? Прошу мою собаку не портить и сахаром не кормить. Завтра я с ней пойду на охоту.

Нет, никогда мы не слышали ни про циммерманов, ни про миберманов, но большие собаки действительно не тронули Кутьку. В собачьем обществе, оказывается, строго запрещено обижать маленьких. Они по очереди вылизали Кутьку с головы до хвоста, а самый наш злющий драчун, серый в яблоках бесхвостый Томка, отдал Кутьке ещё не совсем обглоданное куропачье крыло и самолично поймал блоху в белой Кутькиной шерсти.

Обрадованные таким собачьим доброжелательством, мы в этот вечер устроили танцы у костра и разошлись, только когда луна спряталась за большое серое облако. Я даже не очень ворчал, увидев, что спит Кутька, похрапывая, на моей большой розовой подушке.

— Удобства любишь! — сказал я, взял Кутьку за шиворот и осторожно переложил щенка в гайдаровскую кубанку.

Утром, едва посветлело на небе, мы поднялись на ноги.

Ветерок давно уже забрался в окошко палатки. Неподальёку, в тальнике, посвистывали куропатки. Звёзды гасли одна за другой. Пора было идти на охоту.

В лесу наши собаки сразу причуяли тетеревов и пошли по птичьим набродам. Кутька бежал рядом с ними, не отставая. Он только иногда повизгивал от боли и негодования, когда тонкие плети ежевики дёргали его за лапы.

Томка первым сделал стойку на широкой поляне. Он оглянулся на нас, вытянул хвост и замер, точно окаменел.

Это значило, что тетерева здесь, рядом, и надо двигаться вперёд тихо-тихо, чтобы не спугнуть осторожных птиц раньше времени. Ну и мы стали идти тихо, еле-еле переставляя ноги, взвели курки у ружей и думали, что тетерева уже лежат у нас в охотничьих сумках. А вот Кутька, разумеется, не обратил на Томку никакого внимания. Он как бежал во всю свою прыть, так и продолжал бежать и с ходу врезался в самую середину крупного тетеревиного выводка.

Дикие чёрные и коричневые птицы с треском, всем выводком, шарахнулись в небо. Грянули выстрелы, перья полетели в стороны. Матёрый косач больно задел Кутьку крылом по носу. Отчаянно пискнул щенок, сел посредине поляны на задние лапы, а правую переднюю поднял высоко вверх: «Пожалейте меня, добрые люди! Что же это такое творится?! Гром, звон! Дерутся! За что? Почему?»

Давно мы так не смеялись. Гайдар подобрал Кутьку с земли, взял на руки. Мы даже снять его успели в этот момент, и до сих пор у меня хранится фотография Гайдара с грозной собакой циммерманом-миберманом на руках.

— Вот, — сказал нам тогда Гайдар, — я же вам говорил, что эта порода замечательная и необыкновенная. Хотел бы я видеть, какая ещё охотничья собака так садится на задние лапы в самой середине выводка и лапой показывает: «Вот она, дичь! Берите, стреляйте, ешьте!»

Весь этот день мы удачно и дружно охотились в лесу.

А ночью к нам на стан пожаловали волки. Они тоже решили поохотиться — за нашими собаками. Мы спали в палатке. Мелкий дождь стучал по тугому брезенту...

Рыча и визжа, прямо по нашим головам влетели в палатку одна за другой четыре собаки. Томка залез ко мне под одеяло, рыжий Васька сел на голову к Гайдару, Грайка забилась за чемоданы и долго там дрожала и со страха по-человечьи всхлипывала, а мохнатый чёрный Бумба даже икать стал от ужаса. Только один маленький Кутька никого не испугался. Он был полным несмышлёным дураком и в том, что страшно, что нет, ещё не разбирался.

Храбро он стоял у входа в палатку и злобно лаял в темноту. Там, в кустах, на едва заметной песчаной дорожке мелькали серые тени. Мы выскочили с ружьями. Тени исчезли.

Внутри палатки сидели рядышком наши псы. Уж такие они были тихие, такие вежливые! Казалось, никогда не было на земле лучших друзей.

— Ну что? — сказал Гайдар, заглядывая в палатку. — Поняли вы или нет, что смысла нет ссориться друг с другом, когда столько злых настоящих врагов живёт на земле?

Собаки, конечно, промолчали, а мы сказали, что поняли, и поблагодарили Гайдара за науку.

Маленькому Кутьке мы утром смастерили ошейник и привязали к нему большую медаль, которую Гайдар вырезал из старой консервной банки.

Очень мне хочется опять побывать на Урале, постоять вечером у песчаной косы и послушать: не стучат ли за косою вёсла, не скрипят ли уключины. Всё хорошее должно оставаться в памяти у человека.

Радий Петрович Погодин

Пират

Вечером мама шила Кешке новый костюм, а сам он сидел в коридоре и строгал себе саблю. На завтра была назначена игра в пиратов. Мишкин отряд решил захватить в плен сурового ангорского кота Горыныча. Горыныч был бродяга и бандит. Он уже несколько лет обитал на чердаках, в подвалах, неизвестно чем питался и ужасно выл по ночам на верхних площадках лестниц.

Так вот, Кешка строгал себе саблю и вдруг услышал, что в дверь кто-то потихоньку скребёт.

— Кто там? — шёпотом спросил Кешка.

За дверью раздалось повизгивание. Кешка отодвинул задвижку, приоткрыл дверь. На площадке сидел маленький, дымчатого цвета щенок, тихо скулил и умоляюще глядел на Кешку.

— Ты чей? — шёпотом спросил Кешка.

Щенок поднялся на толстые лапы, пододвинулся к Кешке и легонько тьякнул, словно хотел сказать: «Можно?»

Не мог Кешка допустить, чтобы щенок замерзал на лестнице.

Щенок просунул в щёлку толстые, словно надутые бока, встряхнулся и стал обнюхивать мамины боты, Кешкины калоши, метёлку в углу. Потом он хитро посмотрел на Кешку и

неуклюже подпрыгнул сразу на четырёх лапах. Но Кешке было не до игры. Он размышлял, как бы узаконить пребывание щенка в квартире. Кешка решил начать с мамы. Дело нетрудное — взять да спросить. Но это только так кажется. Кешка долго мялся у маминого стула, потом сказал:

— Мама, а что, если бы нам с тобой щенка завести?..

— А ещё что? — не отрывая глаз от машинки, спросила мама.

— Нет, больше ничего... Знаешь, щенка. Он бы нам комнату стерёг.

Мама отложила костюм и посмотрела Кешке в глаза. Сын стоял с независимым и безразличным видом.

— Где щенок? — спросила мама.

— Щенок?.. Какой щенок?.. — Кешка притворился, что не понимает, а сам опустил глаза и посмотрел к маме под стул. Там сидел щенок и вилял хвостом-баранкой. Щенок, наверно, подумал, что уже всё в порядке, весело тявкнул и потянул маму за юбку. Мама вытащила его за загривок из-под стула, подняла в воздух и, надув губы, сказала, как говорят маленьким детям:

— Вот мы какие...

«Понравился», — догадался Кешка. Но мама опустила щенка на пол и с сожалением покачала головой:

— Нет, Кешка, не проси... В одной комнате собаку держать нельзя.

— А мы в коридоре, — живо предложил Кешка. Мама опять покачала головой.

— Коридор общий, соседи будут возражать.

Кешке не хотелось сдаваться так сразу. Он пошёл к тётке Люсе, к соседке.

— Тётя Люся, можно мне в коридоре щенка держать?

— Зачем тебе щенок? — Тётя Люся пожала плечами и посмотрела на дядю Борю. Дядя Боря, он был у тётки Люси в гостях, захотел посмотреть щенка.

— Люблю собак... Моя мечта — завести собаку, овчарку или сенбернара.

А Кешка пошёл к другому соседу — молчаливому шофёру пятитонки, Василию Михайловичу.

— Василь Михалыч, — постучал он. — Василь Михалыч, можно мне щенка в коридоре держать?

Василий Михайлович, высокий, до притолоки, открыл дверь, загородив своей широченной фигурой весь проход.

— Стоящий зверь? — спросил он глухим басом. Кешка задрал голову — иначе на Василия Михайловича смотреть было нельзя.

— Хороший щенок, — кивнул он, — пузатый, и хвост колесом.

— Хвост — это не доказательство, — прогудел Василий Михайлович. — Пойдём обзирать...

Кешка побежал впереди, Василий Михайлович бухал тяжёлыми ботинками за ним.

В Кешкиной комнате уже сидели тётя Люся и дядя Боря.

— Собака — моя мечта, — говорил дядя Боря, — особенно сенбернар.

Тётя Люся тискала щенка и приговаривала:

— Куси, Мурзик, куси... Ну-у, куси, — и совала щенку свой палец с красным ногтем.

— Это и не Мурзик вовсе, — обиделся за щенка Кешка. — Это... это Пират.

Василий Михайлович присел на корточки, осмотрел щенка.

— Такого зверя на улицу выбрасывать преступление, — наконец сказал он. — Овчарка чистой породы.

— Овчарка — моя мечта, — снова сказал дядя Боря.

— Пусть остаётся, — согласилась тётя Люся, — если не будет гадить... Смотри у меня!.. — погрозила она щенку. А он вильнул хвостом: мол, согласен — и... пустил лужу.

Мама засмеялась, тётя Люся поморщилась, дядя Боря вдруг начал протирать очки, а Василий Михайлович посмотрел на щенка с ухмылкой и сказал:

— Серьёзный зверь... Живи.

Таким образом, щенок был водворён в квартиру. Кешка весь вечер кормил его, чистил, даже позабыл про свою саблю. Мечтал вырастить из Пирата грозного пограничного пса.

На следующий день Кешка вышел со щенком во двор. Старенькая дворничиха, тётя Настя, подметала большой метлой щепки. Кешка важно водил щенка на верёвочке, поджидал Мишку. Мишка пошёл со своим третьим классом на экскурсию в железнодорожный музей. Кешка ждал терпеливо: пусть Пират воздухом дышит — закаляется. Наконец Мишка появился, ещё издали помаhal Кешке портфелем.

— Это твой?..

И полез щекотать щенка за ухом.

— Хороший пёс... Как его зовут?.. Давай из него ищейку воспитаем, а?

— Ладно, — согласился Кешка. Подросел и Круглый Толик.

— Надо ему испытание сделать, — сказал он. — Дайте ему что-нибудь понюхать.

Мишка поставил под нос Пирата свою ногу.

— Нюхай, Пират... Ну, нюхай...

Но Пират вцепился Мишке в штанину и начал мотать головой во все стороны и рычать. Мишка кое-как вырвался от него и быстро спрятался за поленницу.

— Ищи, Пират! — скомандовал Кешка.

Щенок натянул верёвку и бросился к дровам. Ребята бежали за ним. Пират обогнул поленницу, где спрятался Мишка, и понесся дальше.

— Не туда! — кричал Кешка.

Вдруг с поленницы прямо на Пирата свалился Горыныч. Кешка выпустил поводок. Потом они с Толиком бросились было спасать щенка, но Горыныч так громко зашипел и так распушил свой хвост, что столкновение с ним грозило кончиться плохо. Пират пустился бежать, но Горыныч одним прыжком настиг его и повалил. Щенок жалобно заскулил, а кот стал над ним, покатав его лапой, словно клубок ниток, и уселся рядом.

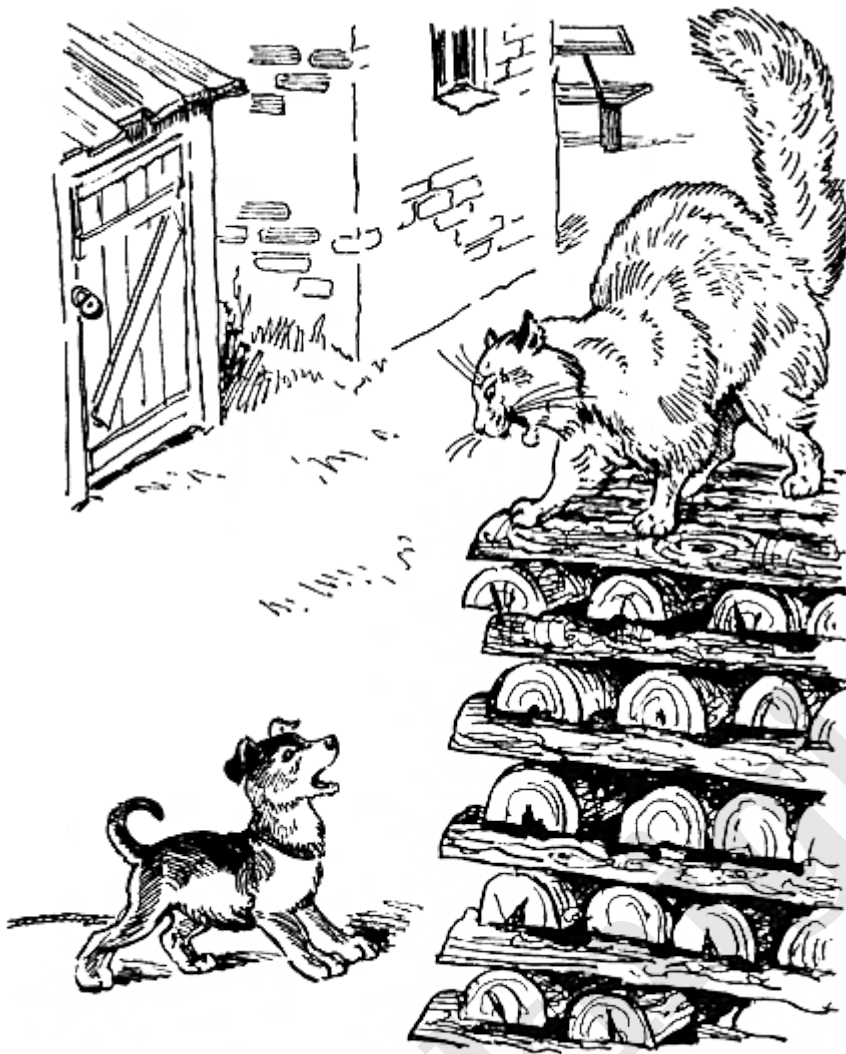
— Мишка! — закричал Толик. — Горыныч Пирата заест!

Мишка вынырнул из-за поленницы мгновенно. Он замахнулся на кота портфелем, но тот не подумал бежать, только припал к земле, выпустил когти и забил хвостом. Ребята чуть отступили. А кот присел и нетерпеливо подтолкнул Пирата лапой. Щенок, подвывая от страха, встал и заискивающе вильнул хвостом. Кот довольно заурчал. Щенок заработал хвостом ещё энергичнее, даже тьякнул легонько.

Мальчишки глазам не верили: беспощадный Горыныч и щенок выделяли такое, что ребята покатывались со смеху. Когда щенок особенно расхотелся и позволял себе непочтительно куснуть Горыныча за хвост, тот валил его своей сильной лапой и показывал острые клыки.

Мальчишки подталкивали друг друга локтями, а Мишка то и дело восклицал:

— Чудеса!.. Расскажи — не поверят. — Он повертел головой, высматривая, кого бы пригласить на это удивительное зрелище... Но во дворе была только дворничиха тётя Настя, да ещё шли из магазина к своей парадной Людмилка с матерью.



У Людмилки любопытства на целый класс. Она подскочила к ребятам, спросила:

— Чего это вы смеётесь? — и вдруг закричала: — Мама, смотри, этот кот нашего щенка треплет!

— Как это вашего? — возмутился Кешка.

— А так нашего, — передразнила его Людмила, — из нашей квартиры.

Подросевшая Людмиликина мать поставила сумку на чистую сосновую плаху и возмущённо заговорила, обращаясь к подметавшей двор тётке Насте:

— Как вам понравится?.. Этот щенок сорок рублей стоит, а они его с котом стравили.

Тетя Настя глянула на щенка:

— А-а... ничего с ним не сделается, — и хмуро добавила: — Деньги людям девать некуда.

— Нет, вы рассудите здраво, — не унималась Людмиликина мать. — За щенка большие деньги отдали, а они его этому чудовищу бросили на растерзание... Отберите сейчас же щенка! — топнула она ногой.

Но у ребят не было никакого желания связываться с котом, к тому же Горыныч не сделал щенку ничего плохого.

— Позови Николая Петровича, — приказала Людмила мать дочке.

Людмила со всех ног бросилась на лестницу. Ребята стояли и недружелюбно поглядывали ей вслед.

«Отберут теперь щенка», — думал Кешка.

Скоро во дворе появилась Людмила в сопровождении худощавого мужчины в макинтоше. Это был Людмилин сосед, не то артист, не то инженер, ребята толком не знали.

— Что здесь происходит? — спросил мужчина.

— Ваш щенок, — ответила Людмила мать. — Мы вчера обыскались, а он вот, щенок... Его это чудовище грызёт.

— И вовсе не грызёт, — поправил её Мишка. — Это они играют... Пират и Горыныч.

— Нечего сказать, компания, — сердито проворчал мужчина. — Какой он вам Пират?.. — Мужчина шагнул вперед, и кот не мог с ним спорить. Кот отступил. А Людмилин сосед подхватил щенка на руки. Он гладил его и приговаривал: — Обидели тебя, Валет... Мы им... — Потом повернулся к ребятам: — Если вы ещё раз коснётесь его, уши оборву!

Хозяин щенка и Людмила мать пошли к лестнице. Людмила показала мальчишкам язык.

Друзья сели на сосновую плаху.

Уши у Кешки горели, словно их и в самом деле оттрепала чья-то грубая рука.

Круглый Толик ковырял ногой кору на полене.

— Может, в пиратов сыграем... — предложил он равнодушно. Но играть в пиратов у ребят не было уже никакой охоты.

Напротив, на поленице, стоял Горыныч. Одиравший бродяга-кот печально смотрел в сторону лестницы, и его отмякшее на минуту сердце, наверное, снова заполнялось злостью.

— А у него раньше другое имя было, — сказал вдруг Мишка, — Барсик... — и уважительно добавил: — Барс...

Юрий Самуилович Хазанов

Случай с черепахой

Однажды папа вдруг принёс черепаху. Так просто. В подарок. Черепаха лежала на полу, упрятав голову и лапы, и была похожа на перевернутый тазик, на огромную ореховую скорлупу, на пятнистый камень...

Подожёл Пёс. Он понюхал черепаху, потрогал лапой панцирь и потом залаял. Лаял он так долго, что у черепахи, наверно, заболели уши, и она решила посмотреть, кто же это может столько вопить без передышки. Черепаха глянула своим немигающим чёрным глазом, и тогда Пёс умолк. Словно только и ждал, чтобы на него она поглядела. А возможно, причина тут в

молоке, которое мама поставила для черепахи и которое Пёс тут же выпил. Он волнения, наверно. Но папа отогнал его, и черепахе опять налили молока и поставили блюдечко к самому носу. Тогда она выпустила из-под себя когтистые лапы — прямо как самолёт закрылки, когда идёт на посадку, — повернулась и заковыляла под кровать. А Пёс снова выпил её молоко.

С тех пор он очень полюбил черепаху и лаял уже не на неё, а на тех, кто брал её в руки.

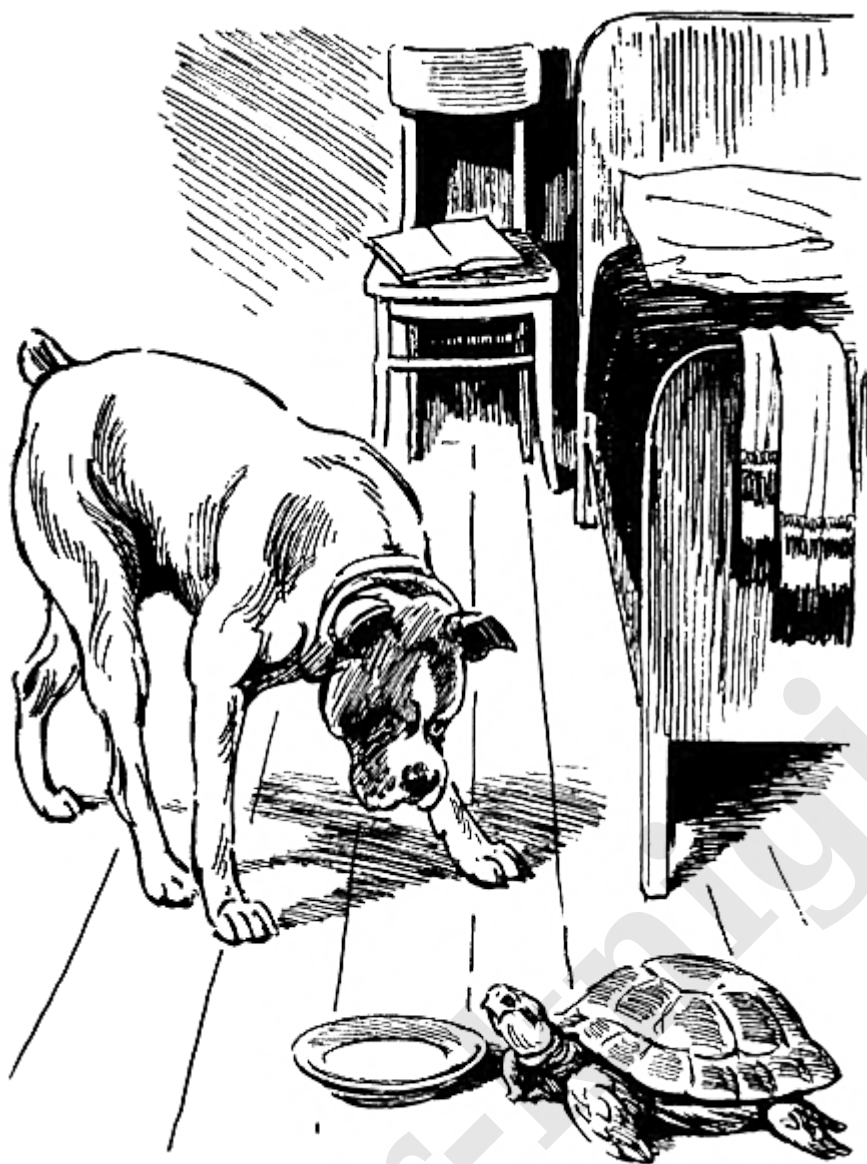
Через несколько дней Гриша сделал черепахе домик в большой коробке из-под обуви. Положил туда травы, поставил блюдце с водой. Коробка стояла под Гришиной кроватью. Но Псу это сразу не понравилось: как же он будет глядеть на свою любимую черепаху?! Он долго лаял на Гришу, а когда тот всё-таки не выполнил его просьбы, Пёс решил взять дело в свои лапы. Решительными шагами он подошёл к кровати и выдвинул из-под неё коробку с черепахой. А только лишь Мариша приблизилась — тоже посмотреть — и хотела погладить черепаху по спине, Пёс заворчал и носом задвинул коробку обратно под кровать.

По несколько раз в день подходил теперь Пёс к Гришиной кровати, выдвигал коробку, любовался на черепаху и потом задвигал обратно. И лаял на всех, кто был поблизости. А черепаха себе спала и видела свои черепашьи сны. И ей даже не мешал Пёсий лай, хотя он был куда громче соседского радио.

Особенно Псу не нравилось, когда Гриша уносил черепаху во двор — погулять. Тут он прямо разрывался от лая.

Но он, бедный, наверно, совсем бы разорвался, если бы знал, что на этот раз черепаху уносят навеки!.. Да, Гриша решил отдать её в школу, чтоб их классу записали лишнее очко — за помощь в работе «живого уголка».

Сколько раз, пока Гриша совсем не убрал её из-под своей кровати, Пёс вытаскивал пустую коробку и, грустно вытаращив свои карие глаза, обнюхивал сухое блюдечко и выцветшую траву с вмятиной от черепашьего панциря. А потом подолгу скулил над тем, что осталось от его приятельницы. Всем было очень жалко Пса, но когда Гриша попросил у мамы денег на новую черепаху, мама не дала ему. Она сказала, что надо было раньше думать — ведь он знал, что без черепахи Пёс начнёт скучать, да и Мариша тоже. А раз не подумал — теперь пеняй на себя.



Но Гриша тоже был не лыком шит. Придумал, что сделать: он начал копить деньги. Копил, копил — то в школе не поест, то сдачу из хлебного магазина не всю маме отдаст... А когда накопил, пошёл и купил черепаху. Вернее, не сам пошёл, а попросил одного большого мальчишку со двора. Тот всё время в зоомагазин ходит — за мотылём для рыб.

И однажды принёс Гриша новую черепаху, взял новую коробку, положил туда черепаху и задвинул коробку под кровать. Всё, как раньше. А уж потом Пса впустил.

Бросился Пёс к кровати, выдвинул лапой коробку, понюхал, посмотрел, опять понюхал... И отвернулся. И совсем ушёл. В другую комнату. И глаза у него грустные, грустные были.

...Но теперь уж Гриша не растерялся. Он вынул из коробки новую черепаху, сунул в карман и побежал в школу. Прямо в живой уголок. Там он вытащил правой рукой из кармана свою новую черепаху, а левой взял старую из ящика. Старую он положил в карман левой же рукой, а новую — в ящик, на её место — правой рукой.

А когда он разобрался с руками и с черепахами, то помчался со всех ног домой. Но по дороге остановился в сквере — нарвать травы. Дома он положил черепаху на её прежнее место и снова позвал Пса. Только Пёс не захотел уже выдвигать коробку, и тогда Гриша сделал это сам.

Тут Пёс подошёл, принялся и радостно завилял хвостом. А черепаха высунула свою голову из-под панциря и подмигнула круглым чёрным глазом.

Леонид Караханович Гурунц

Баллада о верности

Отара овец спускалась с гор, с летних пастбищ, на зимовку в низины. На полдороге старший чабан вдруг обнаружил, что нет его лучшей сторожевой собаки.

— Карабаш! — звал чабан собаку.

Эхо далеко отдавалось в горах, а собака не отзывалась.

«Наверное, издохла» — подумал чабан. Собаки, чувствуя свою кончину, уходят от хозяина.

Погоревал, погоревал чабан, а там и забылось. Через несколько дней после пропажи собаки чабан не обнаружил своей бурки. Должно быть, позабыл на летней стоянке. Чабан пожалел и о бурке.

Ранней весной колхозное стадо снова поднялось в горы на летний отгон. И здесь чабан увидел свою бурку, а возле нее Карабаша, пропавшую собаку. Чабан понял всё: собака осталась сторожить бурку.

Вокруг бурки вся трава была измята и обгрызена. И сама собака была другая, остались от неё кости и кожа, да клочьями торчала бурая свалывшаяся шерсть.

— Карабаш! — кинулся к собаке чабан, доставая из сумки хлеб.

Но собака не приняла ни хлеба, ни ласки. Она отчуждённо ощерила жёлтые зубы. Потом ушла, поджав хвост, не оборачиваясь на зов.

Она не простила обиды.

Ада Лишина, Олег Лишин

Жулик

Светлой майской ночью нас разбудил выстрел и отчаянный собачий визг. Выскочив на улицу, Сергей увидел, что его Жулик с мордой, залитой кровью, крутится на одном месте. В воздухе ещё не рассеялся запах пороха. Сергей упал возле ослепшей собаки и, обхватив её руками, заплакал.

С Жуликом я был знаком уже два года — с тех пор, как подружился с его хозяином. Помню дождливую осеннюю ночь, когда к нашей лесной избушке подошёл медведь. Его, наверное, интересовала лошадь, закрытая в небольшой конюшне. Четыре собаки с визгом забились под нары, а Жулик сильным прыжком распахнул дверь и исчез.

Схватив ружья, мы выскочили за собакой. Рядом с избой в кромешной тьме слышался яростный лай. Мы бросились туда, но лай стал быстро удаляться и вскоре затерялся в шуме дождя и реки...

Спустя полчаса за дверью послышалось царапанье. Открыли — на пороге появился Жулик, мокрый, грязный. Он отряхнулся, окатив нас водой, молча постоял и улёгся у порога.

Эта история повторялась раза три и каждый раз одинаково: собаки прятались в избушке, и только Жулик, услышав приближение зверя, вылетал на улицу и гнал его прочь.

После очередного переполоха мы сняли с морды Жулика клоч медвежьей шерсти. Напасть на медведя в одиночку, да ещё и в темноте, решится не каждая промысловая лайка, не раз охотившаяся на медведей. А у Жулика такого опыта не было. Зато он ухитрялся останавливать для охотника лося в такое время зимы, когда собаки с трудом пробивают себе дорогу даже по лыжне. Другие собаки могли потерять уходящую «верхом» — по вершинам деревьев — белку или куницу, ошибаться, облаивая «пустое» дерево, с которого зверёк уже ушёл, но на мерный, чуть глуховатый лай Жулика можно было идти уверенно: зверь или птица здесь.

Я не раз слышал от старых охотников, что собака нередко приобретает черты характера своего хозяина. Если это так, то Жулика можно считать прекрасным примером. Азартный на охоте, безрассудно смелый, он становился надёжным другом тех, кто сумел завоевать его доверие.

Внешность Жулика была самой заурядной. Он напоминал скорее дворнягу, чем лайку. Красили его только глаза — карие, ясные, со спокойным и внимательным выражением.

И вот теперь эти глаза залиты кровью, изуродованы, обожжены выстрелом в упор. Больше они не засветятся по-человечьи, когда вечером у костра пёс положит голову тебе на колени. Какой-то мерзавец или просто трус сделал это подлое дело.

...Жулька постепенно привыкал к слепоте, стал реже наткаться на предметы. У него появилась манера на бегу высоко поднимать лапы, чтобы не споткнуться. Мы с женой взяли его к себе: Сергею в тайге он больше не мог быть помощником. Словно поняв, в чём дело, Жулик с первого же дня признал наш дом своим. Целыми днями он лежал у калитки, подставив зимнему солнцу изувеченную морду. Характер у него стал мягче.



Прежде он неохотно позволял ласкать себя, только сам изредка, в виде приветствия, ткнётся на бегу носом в ладонь и промчится дальше. Теперь же он по нескольку раз в день подходил к кому-нибудь из нас, трогал лапой и терпеливо ждал, когда его погладят. В остальном пёс не изменился. Он остался таким же драчливым и задиристым, и собаки по-прежнему отступали перед ним. Как и раньше, он не терпел посторонних людей около своего дома и не обращал на них никакого внимания в любом другом месте, пока его не задевали. Но, ослепнув, он чувствовал приближение чужих гораздо раньше, чем остальные собаки.

Казалось, Жулик примирился со своей участью. Он не пытался уходить за Сергеем в лес на работу, как раньше. А приходя в дом Сергея, ласкался и охотно брал угощение, но неизменно уносил его к нашему дому и только здесь съедал. Какие мысли бродили в рыжей лобастой голове?

И вот однажды Жулик исчез. Поиски ничего не дали. Шли дни, за окнами шумела тайга, мела метель, а Жулька всё не появлялся. Мы потеряли всякую надежду.

На десятые сутки, ночью, Сергей возвращался на лыжах с дальнего обхода, ещё ничего не зная о случившемся. В тридцати километрах от дома ему сказали, что на днях рыжая собака, очень похожая на его Жулика, долго металась по льду реки перед большой наледью и, не найдя сухой

дороги, повернула обратно.

Сергей уже подходил к селу, когда в стороне от дороги, в темноте густого ельника, послышался знакомый лай. Пёс работал: он нашёл дичь и теперь призывал хозяина. Жулька... Ещё не веря себе, Сергей свистнул, а спустя несколько минут на дорогу выскочил рыжий косолапый пёс.

Так и не смог рассказать нам Жулик, почему он ушёл из дому. Или соскучился по старому хозяину? Но ведь он часто виделся с Сергеем. Скорее всего, стосковался пёс по вольной лесной жизни, по своей тяжёлой, но радостной работе.

Мы написали о Жулике свердловским врачам-хирургам. Вложили в конверт фотографию, с которой пытливо смотрят его умные глаза. Просили сделать операцию, хотя бы в целях эксперимента, пусть даже опасного. Долго с волнением ждали ответа. И вот ответ пришёл. Нас приглашали приехать.

Удивительно спокойно вёл себя Жулик в дороге. Никогда не бывавший в городе, весь свой век проживший среди запахов и звуков леса, он не жался к ногам, не шарахался от близкого шума моторов. Спокойно, насторожённо, чутко прислушиваясь к незнакомым запахам и звукам, он шёл рядом со мной по оживлённым улицам Свердловска. Его толкали прохожие — он словно не замечал их.

В большой городской больнице нас встретили приветливо. Жулика поместили в просторную клетку в комнате, где по соседству, тоже в клетках, лаяли, рычали и визжали другие собаки. Хирург, молодая женщина, после осмотра Жулика сказала мне, что операция будет сложной, но надежда на успех есть, если только пёс не потревожит послеоперационных швов.

Наступили тревожные дни. Первое время, после моего ухода, Жулик беспокоился, выл, рвался из клетки. Потом, видимо, понял, что я его не бросил, перестал волноваться, но всякий раз встречал меня радостным визгом.

Каждый день, закончив работу, я спешил в клинику, покупая по дороге что-нибудь вкусное «с собачьей точки зрения».

Операция прошла удачно. Самым поразительным было то, что Жулик, не терпевший даже запаха чужих людей, теперь позволял посторонним делать с собой всё, что угодно. Швы снимали ему без наркоза, не надевая намордника, и этот пёс, который славился по всем окрестным посёлкам своей злобностью, стоял спокойно даже тогда, когда ему делали уколы. Я не держал его, только слегка поглаживал по голове.

Теперь оставалось только ждать. Зрение должно было частично восстановиться через несколько месяцев.

Но... случилось нелепое. До сих пор не могу избавиться от тяжёлого чувства вины: а всё ли было сделано, чтобы этого не случилось?

На вокзале неожиданно выяснилось, что на город наложен карантин. Может быть, заболела бруцеллёзом какая-нибудь коза, может, дело было серьёзное, но твёрдые в своей решимости железнодорожники горой стояли на пути вывоза из города любого живого существа. Добиться разрешения так и не удалось. Командировка у меня кончилась, и не было другого выхода, как оставить Жулика у приятеля на окраине города в небольшом сарайчике во дворе дома. Так я и сделал, надеясь через месяц приехать в Свердловск снова. До сих пор царапает душу щемящий Жулькин вой, когда я уходил от него. Как я мог объяснить ему, что вернусь за ним?

Через месяц мне отказали в просьбе о коротком отпуске, а жену не отпускал из дома крохотный сын. Разрешение на поездку удалось получить только через три месяца.

С волнением подходя к знакомой калитке, я уже издали искал глазами Жулика. Его не было видно. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Войдя во двор, я бросился к сараю. Там было пусто. От хозяйки я узнал, что в последнее время Жулик начал беспокоиться. Недели две назад он снял ошейник и ушёл. Приятель отыскал его в ближнем лесу. После этого Жулика посадили на цепь в сарае. Неделю назад он снял ошейник, подкопал сарай и снова ушёл. На этот раз найти его не удалось. Мы с приятелем опросили чуть ли не всех собачников города, обегали все окрестности. Жулкы исчез.

А восемь месяцев спустя, в начале зимы, километрах в пяти от нашего села, на лесной дороге Сергей увидел убитую машиной собаку. Рыжая, лохматая, коротконогая, она очень напоминала Жулика. Голова её была сильно искалечена ударом, поэтому точно определить было нельзя. Но во всей округе не было в те времена собаки, похожей на Жулика.

Мог ли полуслепой пёс пройти триста километров, отделяющих Свердловск от его родины? Старожилы Севера знают подобные случаи. И это очень похоже на Жулика. Только горько думать, что если пёс перестал ждать и ушёл, значит, он разуверился в людях, которых считал друзьями, которым верил, и погиб с мыслью, что его предали.

Владимир Дмитриевич Дудинцев

Бешеный мальчишка

В новом районе Москвы был построен прошлым летом восьмиэтажный дом с множеством маленьких и больших квартир. Найти этот дом легко. Он песочного цвета и занимает целый квартал. Окна и балконы его выходят на три улицы, и с трёх же сторон он запирает широкий двор, который сейчас уже превратился в парк с фонтанами и скамейками.

В прошлом году, в июле, когда комиссия принимала готовый дом, зелени здесь ещё не было. Люди ходили по горам битого кирпича.

Комиссия приняла дом с отметкой «четыре с плюсом», написала постановление о немедленном приведении в порядок двора и ушла. И вскоре, в один день — в один прекрасный день! — сюда съехались десятки грузовиков. Прихрамывая и щёлкая протезом, пришёл управдом — инвалид Отечественной войны. Он принёс чемодан, полный ключей в связках. Везде замелькали матрасы, ножки перевёрнутых столов, поплыли, скрываясь в подъездах, тяжёлые шкафы, запрыгали, закричали от радости дети, с балкона на четвёртом этаже залаяла гробовым голосом огромная чёрная овчарка: началось вселение жильцов.

В первые несколько дней никто никого ещё не знал здесь: имеются в виду взрослые. Соседи обменивались ещё первыми внимательными взглядами. Но у ребят, которые в первую же минуту после переезда понеслись во двор, сразу наметились прочные союзы. Все дети знали друг друга уже на второй день, и именно здесь, во дворе, среди ребят родилось то, что впоследствии у взрослых получило название *коллектива жильцов*.

На пятый или шестой день, после того как все квартиры были заселены, во дворе на асфальтовой площадке произошло событие, пустячок, которому никто не придавал значения. А между тем, как часто бывает, из пустячка выросла целая история.

Вот как было дело. Девочка Женя побежала за мячом в тот угол двора, где к дому пристроено

крыльцо с крышей, ведущее не вверх, а вниз, в таинственный, всегда запёртый подвал. Женя схватила мяч, сейчас же уронила его и закричала:

— Ой, кого я увидела! — и зашептала: — Идите скорей, девочки, кто здесь сидит!

Девочки сбежались и увидели внизу, на самой нижней ступеньке — в подвале — маленького дрожащего головастого щенка. Он был из дворняжек — пушистый, словно сделанный из белой цигейки. На боку у него было чёрное пятно. И два таких же чёрных пятна были, как очки, посажены ему на мордочку — настолько чёрные пятна, что не видно было глаз, а глаза эти были печальны — щенок как будто плакал.

Тонконогая девочка с косичками, оттолкнув маленькую Женю, бросилась к нему, запрыгала по ступенькам. Щенок очень смешно — сидя — попятился от неё и забился в угол. А когда девочка взяла его на руки, то под ним на цементе оказалась маленькая лужица: так он испугался.

Девочка вынесла его наверх.

Здесь его рассмотрели, и маленькая Женя, становясь на цыпочки, сказала:

— Всегда, когда дети очень маленькие, у них выются волосы.

Но девочкам не удалось поиграть со щенком. Уже летела по двору эскадрилья истребителей — наши мальчишки. Девочки, потемнев лицом, умолкли и, не сводя с противника глаз, отошли в сторону, и мальчишки унесли щенка в другой, в свой, угол двора.

Там на старом, разломанном плетёном стуле щенку дали имя — Тобик. С ним пытались поиграть, но он был что-то очень печален: должно быть, грустил по своей матери.

Потом к нему со стороны подошёл мальчик постарше — очень красивый, больше похожий на девочку. Выгнув дугой чёрную бровь, он пропел «тррам!» и больно щёлкнул Тобика по носу. Щенку это не понравилось. Он отвернулся и стал глядеть как бы в сторону, гневно выкатив белки глаз. Но смотрел он только на обидчика. И как только тот снова пропел своё «тррам!» и потянулся к носу Тобика, пёс приподнялся и зарычал. Зарычал и залаял — в сторону, вверх, но это адресовалось злому мальчишке. А мальчишка будто не слышал — ещё больнее щёлкнул Тобика. Щенок залаял громче и заплакал.

И вдруг злой обидчик оставил Тобика и, сунув руки в карманы своих застёгнутых у колен шаровар, притопывая, пошёл в сторону. Почему? Вот почему: он знал, что делает нехорошо. А тут как раз показались из-за угла ребята — его ровесники, от которых ему могло попасть, и он поспешил с улыбкой отойти.

Вскоре все дети ушли обедать, и двор опустел. Тобик ходил один по асфальту, смотрел на горы земли и битого кирпича и печально садился.

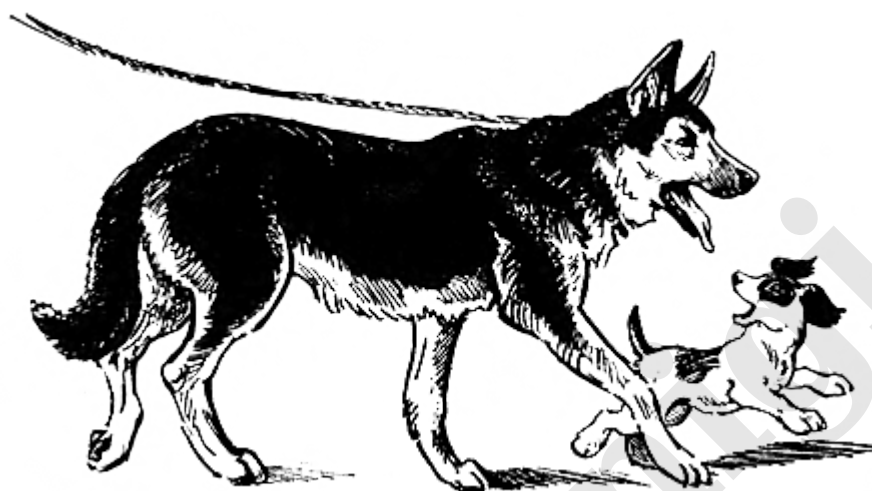
Потом из шестого подъезда вышли девочка Женя и её мама и поставили перед Тобиком консервную банку с молоком. Вышли ребята из других подъездов, и еды у Тобика оказалось так много, что он вскоре должен был вежливо отказаться. Живот его раздулся, а хвост как будто стал короче, и все поняли, что собакевичу надо теперь полежать. Сейчас же отряд истребителей полетел по двору и вернулся с фанерным ящиком, полным стружек.

— Здесь у него будет дом, — сказали ребята, устанавливая ящик в мальчишечьем углу двора.

Всё как будто кончилось хорошо в этот день. Но об одном никто ещё не успел подумать: Тобик был живым существом, и, как всё живое, его ожидало какое-то будущее — весёлое или печальное.

Вы, наверное, помните — было время, когда по Москве после каких-то неприятных случаев, связанных чуть ли не с бешенством, расклеили плакаты о борьбе с бродячими собаками и кошками. Вот такие, величиной с тетрадный листок, плакаты висели в подъездах нашего дома, и на каждом была нарисована растрёпанная и грязная бродячая собака.

Ребята приютили щенка, и в первый день для них это была только игрушка. Но Тобик очень быстро рос, и через несколько месяцев стал собакой. Вот тут и поняли ребята, что игра с живым существом — дело ответственное.



К зиме это был уже небольшой дворовый пёс, белый с чёрными пятнами, чистенький, подхватистый, бегающий всё время как будто на цыпочках — образец собачьей красоты. Весь наш просторный двор, занесённый февральским снегом, был испещрён его следами. У Тобика была весёлая жизнь, и начиналась она рано утром, когда выводили на прогулку комнатных собак с иностранными именами. Первым появлялся дурашливый Ральф — восьмимесячный, но уже ожиревший щенок-овчарка. Увидев его, Тобик нёсся через весь двор, летел, как птица, и с ходу как бы вращал в снег около приятеля. Потом бросался в сторону, и Ральф, обезумев от этого красноречивого призыва, вырвав поводок из рук своей провожатой — старухи, тяжело трусил за ним. Вскоре Ральф обессиленно ложился и свешивал длинный красный язык до самого снега. Хозяйка уводила его в дом. На смену появлялась белая шелковистая Лиззи, к которой Тобик чувствовал особое расположение. В ответ на его приветствие Лиззи набрасывалась на него, как будто хотела загрызть, и, доведя его, неопытного и юного, до полной растерянности, начинала мелькать и увёртываться перед ним, как страусовое перо. Наляявшись до сердцебиения, Лиззи ложилась на снег. Тут же её подбирали и уносили в подъезд.

После Лиззи минут через двадцать выходил на прогулку в сопровождении домработницы Принц — огромный чёрный овчар с хриплым голосом. Неутомимый Тобик то танцевал вокруг него, то вдруг выделял во дворе грандиозный вираж, призывая Принца побегать, но воспитанный пёс, придерживая хвост у ноги, как генерал шашку, шёл, как его научили в собачьей школе — «рядом» и только косился время от времени на домработницу.

Тогда Тобик останавливался посередине двора.

«Эх, ты!» — как бы говорил он Принцу.

А через минуту мы могли найти его уже на ледяной горке. От толпы ребят отделялся, скользил вниз по льду фанерный лист, заваленный пассажирами, — и там, конечно, был виден собачий хвост, как всегда, свёрнутый в кольцо.

Жильцы всех трёхсот шестидесяти квартир знали Тобика: он весь день кого-нибудь сопровождал до подъезда, приложив уши и помахивая хвостом. Лаял он редко. Было замечено, что Тобик лает только на чужих.

И не было бы у него на нашем дворе врагов, если бы не вспомнил о нём красивый мальчик с выгнутыми чёрными бровями — тот самый обидчик, с которым мы уже знакомы. Будем звать его так, как звал его папа — Аликом.

А раз уж папу упомянули, то надо сказать несколько слов и об этом очень занятом человеке.

Роста он был такого же, как и его одиннадцатилетний сын (только, конечно, отец был шире и значительно тяжелее). К сословию интеллигентов, умеющих держать в руке молоток или колоть дрова, он не принадлежал. Например, в своей «Волге» — машине, которой он сам управлял, он не знал ничего, кроме руля, рычага скорости и тормоза. Он уже успел расплавить коренные подшипники коленчатого вала и заморозить радиатор, а мелкие поломки — их мы не смогли бы даже сосчитать. Их устранял шофёр огромного грузовика — жилец нашего дома дядя Саша.

Ходил отец Алика всегда чётким шагом, голову держал высоко, как будто смотрел на второй этаж. И все, мимо кого он проходил в нашем дворе, задумывались: хороший он человек или плохой?..

Так вот, у Тобика был враг. Однажды в мае нынешнего года шофёр дядя Саша открыл своё окно на втором этаже и, выглянув во двор, увидел следующее. Вдали перед шеренгой ребят прохаживался молодой человек в узких брюках и клетчатой рубашке и заставлял тяжеловесного Принца перемахивать через заборчик. Ближе, прямо перед окном, стоял огромный грузовик дяди Саши (шофёр иногда оставлял свою машину на ночь в нашем дворе). Около грузовика прыгал уже известный нам красивый мальчик и, светясь злым любопытством, дразнил Тобика. Растопырив пальцы и топая, он приближался к собаке, приближался и вдруг отскакивал. Наш независимый общественный пёс стоял под грузовиком у массивного колеса, слегка оскалась и загадочно шевеля хвостом. Было видно, что ему хочется кинуться вперёд, особенно в те моменты, когда Алик отскакивал. Но Тобик всё-таки стоял — ждал, что будет дальше.

— Поди-ка на минутку. — Дядя Саша тёмной большой рукой поманил Алика из окна. — Поди, поди, что скажу.

Алик подошёл и остановился под окном, подняв голову.

— Вот ты, милок, дразнишь Тобика. Что он тебе сделал? Тебе это нравится — дразнить. А он ведь у нас никаких прав не имеет. Он ничей. Оцарапает он тебя — что тогда? Сейчас же к папке побежишь? Скажешь, нет?

Алик не ответил. Он подошёл ближе и смотрел вверх на дядю Сашу чистыми глазами, выгнув красивую бровь.

— Отец пойдёт к управдому, — продолжал шофёр. — И Тобика — в мешок и утопят за твоё баловство-то. Хорошо это будет? Не жалко тебе?

Алик всё смотрел вверх, прямо в глаза дяде Саше, пока тот не кончил своей речи. И после этого он всё так же стоял и смотрел ещё с минуту вверх — так пристально, что шофёру вдруг стало не по себе. У мальчишки был отцовский взгляд. А потом Алик повернулся на одной ноге и, улыбаясь, пошёл к Тобику, похлопывая рукой по колену. Тобик сразу же простил ему всё, прижал уши и вышел из-под грузовика.

Тут из-за угла неслышно выкатилась сверкающая голубая «Волга» и остановилась у подъезда. Вышел папа Алика и прошёл к окну дяди Саши:

— Александр Иванович, не могли бы вы сейчас посмотреть?.. У меня температура воды испортилась.

— Температура воды? — переспросил дядя Саша и скрылся в окне. — Значит, температура воды подкачала, — сказал он, появляясь через минуту из подъезда. — Ну-ка, посмотрим.

Он открыл капот машины.

— Воду давно доливали в радиатор?

— Давно. А что?

— Водички не долили вовремя, — сказал дядя Саша, как бы извиняясь. — По-моему, осенью я уже менял вам датчик. Я и говорил вам тогда про воду... Чтобы вовремя доливать...

Отец Алика ничего не сказал. Он как-то странно затих и уставился на шофёра.

— Машину тоже уважать полагается, товарищ водитель. Это всё равно что людей уважать, что их работу...

Говоря это, дядя Саша гладил «Волгу», а хозяин машины смотрел на него ясным взором. Потом повернулся и пошёл к своему подъезду. Там на крыльце он крикнул:

— Так я оставляю вам машину. Алик! Брось сейчас же собаку! Не трогай её руками!

И скрылся за дверью.

В эту самую минуту по тротуару пробежал Принц, свернул к грузовику и стал обнюхивать шину. Алька погладил Тобика, потом вдруг быстро поднял его и бросил на чёрного зверя. Принц присел от неожиданности и как бы задохнулся. В одно и то же время послышались его медвежий рёв и визг Тобика, и наш маленький пёс с поджатым хвостом пронёсся на другой конец двора к своим друзьям, к ребятам. И все увидели на его боку кровь.

— Что ты делаешь, зверёныш ты эдакий! — с крыльца закричала на Алика лифтёрша.

— Ну и шалопай, — сказал шофёр. — Не видел ещё таких.

Но Алик только улыбнулся. Он не боялся взрослых. И он улыбался, пока не увидел, что от толпы ребят, где скрылся Тобик, отделился мститель — невысокий, коренастый и нахмуренный. Мальчик этот очень быстро пошёл на Алика, потом побежал, и наш красавец, передвигая ровные, как макароны, ноги, направился к своему подъезду. Дверь хлопнула: он, как всегда, вовремя убрался.

А теперь можно перейти к самому главному событию, решившему судьбу Тобика. Произошло

это в июле. К этому времени ещё раз два папа Алика сломал голубую «Волгу», а шофёр её починил. Дядя Саша, кроме того, успел съездить на своём гигантском грузовике в далёкий рейс. Он отвёз ответственный груз в Таллин, оттуда с новым грузом отправился в Киев, потом проехал весь Донбасс и с юга вернулся в Москву. В июле его должны были послать в новый рейс — ещё дальше, и он, между прочим, подумал по пути навестить под Харьковом своих старичков родителей.

Двор наш к этому времени стал зелёным, в центре его играл радугой под солнцем и влажно пылил большой фонтан, и там в жару постоянно прыгали, словно бронзовые от воды, дети. И Тобик, конечно, купался вместе с ними, бегал под фонтаном, мокрый, словно ошипанный. В июле ему исполнился год. Всего один год жизни!

В эти жаркие дни на дворе появился Алик. Он целый месяц был на даче, а теперь нелёгкая принесла его, и сразу же стряслась беда.

Как-то утром дядя Саша услышал через открытое окно короткое тьякнанье Тобика, которое повторялось через одинаковые тихие паузы. Потом послышался голос лифтьёрши: «Вот вражонок! Чего ты к нему привязался?»

Дядя Саша нахмурился и отдернул занавеску. Никого из ребят ещё не было во дворе. Он почти весь был в тихой свежей тени, и вдали дворник посылал в воздух из шланга потрескивающую, огненную от солнца струю.

А внизу под окном дяди Саши стоял только что приехавший Алик в костюмчике из сурового полотна. Что же он делал здесь в одиночестве? Где же Тобик?

Пёс сидел под старым разломанным плетёным стулом, который кто-то перетащил сюда, под окно. Через дыру, прорванную в сиденье, были видны чёрный собачий нос и сердитые мелкие зубы. Алик наклонился над стулом.

— Тррамм! — сказал он и щёлкнул Тобика пальцем по носу.

Тобик тьякнул и запоздало несколько раз укусил воздух.

— Эй, Алька! — крикнул с балкона кто-то из ребят. — Сейчас вот я спущусь... Отойди от Тобика!

— Тррамм! — пропел Алик и опять щёлкнул пальцем по чёрному носу.

Тобик опять тьякнул. Он не убежал — терпел это оскорбление. Но дядя Саша уже видел, к чему клонится дело: Тобик всё дальше просовывал нос в дырку и всё быстрее вслед за ударом по носу щёлкали его зубы.

— Мальчик, перестань безобразничать! — прозвенел где-то вверху молодой мужской голос.

Алик поднял голову и внимательно посмотрел поочерёдно на всех, кто делал ему замечание. Потом он занёс руку над дыркой в стуле. А дальше произошла ужасная вещь: плетённый стул подскочил, и вместе с ним, вскрикнув, подскочил Алик. Потом всё это покатило на асфальт. Алик сейчас же вскочил и побежал к своему подъезду. Остановился, посмотрел на палец и побежал ещё быстрее.

Через минуту во дворе уже собралась шумная толпа ребят. Тобика увели в мальчишечий угол. Попробовали его усадить в ящик со стружками, но он увернулся и начал весело прыгать на

грудь всем ребятам.

Тут как раз и вышел на крыльцо папа Алика.

— Какая собака? — спросил он, быстро оглядываясь и в то же время ни на кого не глядя.

— Он его дразнил, — сурово сказала в толпе ребят девочка Женя.



— Чья это собака? Где она?

Тобик прыгал здесь же, у Алькиного отца под ногами, и тот не видел ничего!

— Я, между прочим, могу сказать, — вежливо начал было дядя Саша. — Ваш сын...

Но тут Тобик был вдруг замечен. Один пристальный взгляд — и маленький полный человечек решительным шагом направился со двора, стуча ботинками тридцать шестого размера.

— Пошёл в домоуправление, — сказал кто-то из взрослых.

И сразу же все зашумели.

— Ничего у него не выйдет, — сказал кто-то.

— Собака-то зарегистрирована? — спросил мужской голос.

— А нам наплевать! Я первая в свидетели пойду, — громко заявила лифтёрша.

И все ребята, а с ними и несколько человек взрослых двинулись туда же, куда ушёл отец Алика, — в домоуправление.

На балконах и в окнах появились зрители. Теперь — через год — все уже были знакомы. Соседи поздоровались, сказали несколько слов, и сразу же стала ясной точка зрения всего нашего дома на историю с Тобиком. Ещё отчётливее выразилась она в весёлом молчании, с

которым был встречен через несколько минут Алькин отец. Дом смотрел на него всеми тремя стенами, во все свои окна. А он тем же решительным шагом прошёл через двор и скрылся в подъезде.

Вернулись и все свидетели — взрослые и мальчишки, все в очень хорошем настроении. Управдом — простой солдат, инвалид войны — спокойно выслушал речь нервного посетителя об уничтожении бродячих собак и о бешенстве, выслушал и сказал:

— Какая же Тобик бродячая собака? Его показывали ветеринару. А когда Тобик заболел чумкой, народный артист из четвёртого подъезда лично делал ему уколы.

Тогда отец Алика сказал, что его мальчик получил укус, управдом выслушал свидетелей и развёл руками: мальчик же сам виноват! Тобик — собака смирная, никогда ещё он не трогал людей.

— Я вижу, вы настаиваете. Что ж, мешков у меня много. Но кто будет исполнять приговор? Поднимется у вас рука? У нас не поднимется.

После этих слов папа Алика и ушёл.

Всё это было с подробностями рассказано внизу, под окном дяди Саши. И публика начала было расходиться, как вдруг дверь подъезда громко хлопнула — это отец Алика, ещё более чёткий и решительный, прошёл к своей «Волге». В тишине щёлкнул и зашипел стартёр. Машина резко дёрнулась, и мотор тут же заглох.

— Злится, — сказал кто-то.

Опять зашипел стартёр, мотор взревел, и «Волга» снялась с места и укатила.

На следующий день стало известно, что Алькин отец ездил куда-то жаловаться — уже не на Тобика, а на управдома, и одноногий солдат получил выговор. И было предписано немедленно устранить отмеченные нарушения.

Целый день после этого наши притихшие ребята прятали Тобика по закоулкам и под лестницами. Да, теперь это уже была не игрушка! Пробовали запереть его в квартире, но Тобик поднял вой и стал царапать дверь: пёс привык жить во дворе, он не мог ни минуты обходиться без своих друзей. Пришлось его выпустить.

Он переночевал в своём ящике со стружками, а рано утром около него уже дежурили ребята. Всё утро дворник подметал и поливал асфальт, несколько раз проходил через двор управдом, и ни тот, ни другой даже не взглянули на Тобика. Это ещё больше встревожило ребят. Они знали: когда Тобика станут забирать, то сделают это незаметно, потому что взрослые поступают именно так, если дело щекотливое и затрагивает чувства детей.

Так и получилось.

Следующей ночью Тобик исчез — навсегда. Ребята пришли утром в мальчишечий угол двора и не нашли на месте ни Тобика, ни его ящика со стружками. Весь угол был чисто выметен и полит водой.

Так до сих пор никто у нас во дворе и не знает, куда делся Тобик.

Знает об этом только один человек — шофёр дядя Саша. В ту ночь, когда Тобик исчез, шофёр

должен был уезжать в свой далёкий рейс. Поздно ночью он подогнал к подъезду свою нагретую рычащую машину — грузовик, в кузове которого стояла привязанная тросами станина какого-то невиданного станка.

На рассвете дядя Саша простился с женой, накинул брезентовый плащ и, взяв саквояж, вышел из подъезда. Он уже открыл дверцу грузовика, как вдруг услышал позади себя собачью костяную рысцу — это Тобик проснулся и подбежал прощаться. Дядя Саша долго смотрел на пса и вдруг решительно прошёл в угол, к ящику со стружками. Он установил этот ящик в кабине грузовика, на полу, рядом со своим водительским местом. Потом опустил в стружки Тобика и прижал его — лежи!

И Тобик лёг на бок, часто облизывая чёрный нос и вздрагивая прикрытыми веками (это говорит у собак о сдержанности и послушании).

Дядя Саша увёз Тобика в Харьковскую область к своим родителям. Пёс охраняет сейчас колхозный яблонево́й сад. Скоро шофёр вернётся и расскажет об этом ребятам — они до сих пор не могут забыть о своём весёлом товарище.

И Алик каждый день вспоминает об этой собаке, которая так ловко укусила его за палец. Ещё бы не вспомнить! По требованию отца мальчишке вот уже месяц каждый день делают уколы в живот против бешенства. После каждого укола он не может разогнуться, и таким вот согнутым его привозят каждый раз из поликлиники. Держась за живот, он еле-еле бредёт к подъезду. Все стоят вокруг и смотрят. А наши мальчишки топают и кричат ему из своего угла:

— Алька бешеный! Алька бешеный!

Анатолий Иванович Мошковский

Катыш

В солнечный день Катыш лежит, свернувшись возле чума, и дремлет; в дождь и сильный ветер его место под грузовыми нартами, а в холодные зимние ночи он вползает в чум, подбирается к железной печке, и его никто оттуда не выгоняет. Обедая, бригадир бросает ему жилистые куски мяса и кости с высосанным мозгом, а убив оленя, даёт Катышу кишки и, если другие собаки, что помоложе, пытаются утащить его еду, горланно кричит на них, хлещет тынзеем, и собаки отбегают.

Катыш поест, оближет передние лапы, зевнёт и опять спокойно уляжется на траву перед чумом.

Он стар. Ему уже за пятнадцать лет. Человек в таком возрасте считается подростком и не очень-то разбирается в жизни, а для собаки это преклонный возраст, и далеко не каждая доживает до таких лет. Вот почему у Катыша седые усы, щёки дряблые, отвисли, глаза постоянно слезятся и смотрят печально и тускло. И когда, лёжа возле чума, он видит, как молодые оленегонные лайки по приказу пастуха с залиvistым, ошалело-радостным лаем подгоняют к чуму стадо, Катыш не может улежать. Он вскакивает и тьякает на приближающихся оленей. Но это стариковское, хриплое тьяканье не доносится до них. Катыш порывается броситься на помощь молодым лайкам, но в ногах — слабость, ломота: они плохо подпирают его. Да и трудно ему подолгу высоко держать голову.



Он тяжело опускается, и только хвост его нетерпеливо бьёт по земле: до чего ж бестолковые эти псы! Лая много — дела мало: надо сбить оленей в плотное стадо, а они раскололи его на кучки и гоняют. «Ох, и не вовремя постарел ты, Катыш!» — думает он. Так и хочется куснуть за загривок одного-другого несмышлёныша.

Он щёлкает зубами, взвизгивает и тоненько воет.

Наконец он устаёт от своих раздумий, медленно опускает на лапы голову и грустно смотрит на тундру, где когда-то родился, беспомощный и слепой, где вперевалку, неуклюже ходил на кривых лапах. Потом у него прорезались глаза, и он играл на травке у чумы с другими щенками, кусался, повизгивал, боролся, прыгал. Когда чуть подрос и окреп, его стали пускать в стадо, но он был глуп и непонятлив. Почувяв простор, носился он по тундре, гонял и хватал зубами задние ноги быков и ликовал от одного чувства, что олень, такой большой и сильный, закинув на спину рога, удирает от него, крошечного и безрогого.

И однажды он загонял белоногую важенку: она в колдобине сломала ногу. Хозяин дико гаркнул на него и так исхлестал кожаным тынзеом, что на спине вспух багровый рубец, и Катыш тоненько скулил и два дня не мог уснуть. После этого случая его привязали за ремешок к старой, опытной лайке Жучке, и, когда та повторяла все приказы пастуха — собирала или гнала в нужную сторону стадо, — Катыш катился за ней и помаленьку набирался ума-разума.

Шли дни, недели, годы... Из маленького щенка Катыш превратился в крупную, сильную собаку с широкой, твёрдой грудью, мускулистыми лапами и острыми клыками. Летом, когда чумы стояли недалеко от моря, он слушал тяжёлые, равномерные удары прибоя и смотрел на странную сине-зелёную, без единого деревца и кустика, тундру, которая при сильном ветре вся покрывается крутыми сопками, а при затишьи становится гладкая, как столик, за которым хозяин пьёт чай.

Зимой чумы стояли в лесу, и Катыш бегал, утопая в снегу, от дерева к дереву, пригоняя далеко ушедших оленей, и среди деревьев было тепло и тихо. А потом волки... При одном воспоминании о волках дыбом встаёт на загривке шерсть. Он кидался на них грудью, норовя клыками поймать горло. И немало на старом, сухощавом теле Катыша глубоких, затянувшихся ран, заросших рубцов, и, если хорошенько погладить его по шерсти, пальцы нащупали бы эти

бугорки, ямки и рубцы. Но хозяин его — человек строгий, неразговорчивый и редко гладит собаку.

Катыш лежит у чума, смотрит в тундру, и в его желтоватых, выгоревших и помутневших глазах светится спокойная, устоявшаяся мудрость. Вот хозяин, сидевший рядом с ним, ножом разбил оленью кость. Тёмно-розовая палочка мозга задрожала в его ладони. Он поднёс её ко рту, но, заметив Катыша, бросил ему вместе с костью.

— Кушай, старик, кушай. Ты у нас на пенсии сейчас, можно сказать. Кушай.

И Катыш послушно глотает мозг, потом с достоинством берёт кость, ложится и начинает медленно грызть её.

Игорь Недоля

Карагез

Старый пастух Магомет приходил в овчарню каждый день. Он и дал имена недавно родившимся щенкам. Чёрного назвал Карагёз — чёрный глаз. Его сестру, лохматую, более ласковую, — Джан, что означало — милая, славная.

Старый пастух говорил со щенками мало, но всегда добивался, чтобы слова-команды они твёрдо запоминали.

Команды были самые простые: иди сюда, ложись, встань, чужой. Щенки первое время иногда и путались, но всё же в конце концов запоминали слова, а Магомет неустанно добивался точного выполнения команды. Он не кричал на них, не наказывал, но по несколько раз заставлял выполнять одно и то же приказание.

Наступила осень с прохладными вечерами и длинными ночами. Мать давно перестала кормить щенков. Щенки получали обильную пищу в отдельных чашках. Магомет готовил из муки, мягких костей и мяса варево специально для щенков и сам давал им. Пока Карагёз и Джан не кончали еду, он от них не уходил. И не потому, что их могли обидеть другие собаки — щенки должны съесть корм, полученный только от хозяина и при нём.

Карагёз любил заглядывать в чашки взрослых собак и выбирать из них самое вкусное. Мать позволяла ему это делать, другие собаки, недовольные самоуправством щенка, скалили зубы и свирепо рычали, но это не производило никакого впечатления на Карагёза: он, казалось, не знал чувства страха и в ответ на рычание огромного волкодава рычал сам.

Псам приходилось мириться с нахалом. А быть может, и потому они уступали щенку, что он брал из чужой чашки немного.

* * *

Днём, когда стадо угоняли на пастбище, щенки оставались у овчарни одни. Толстые увальни неуклюже возились, бегали и кусали друг друга. Игры их были пока ещё неловкие, хотя с каждым днём щенки становились сильнее. А вечерами, когда возвращалась отара овец и собаки, игры устраивались со всеми овчарками. Даже вожак, старый волкодав Шайтан, сквозь дремоту добродушно позволял играть с его хвостом. В игру вмешивался и Магомет. Он подзывал к себе щенков негромким свистом и заставлял между игрой выполнять какие-нибудь приказания.

Играя, оба щенка старались схватить друг друга за горло и повалить на землю. Ведь поверженный наполовину побеждён. Джан всегда поддавалась натиску брата и падала, но, конечно, мать и Шайтана Карагёзу не удавалось свалить. Небольшое движение головы вожака — и изрядно надоевший щенок отлетал в сторону и сразу же начинал всё сначала, до тех пор, пока Шайтан не уходил куда-нибудь подальше.

По полгоду исполнилось Карагёзу и Джан, когда Магомет принёс волчонка, почти такого возраста, как и щенки. Ростом волчонок оказался меньше Джан, но это был дикий зверь. Он закалился в борьбе с другими волчатами и в играх, и в драках за пищу. Волчонок мог постоять за себя в борьбе за жизнь.

Магомет выпустил волчонка в ограждённом дворике, где играли Карагёз и Джан. Выскочить за изгородь волчонок не мог, оставалось одно — защищаться. Зверёныш согнулся, поджал хвост и оскалил зубы.

Резкий запах волчонка насторожил Джан, шерсть у неё поднялась, она заворчала недоверчиво и даже несколько испуганно. Карагёз повёл себя иначе.

Вначале он принюхивался к незнакомому запаху, но запах ничего ему не говорил. В ещё короткую жизнь Карагёза не входил никакой враг. И он спокойно направился к волчонку.

Совсем небольшое расстояние разделяло их. На мгновение Карагёз остановился, а в это время волчонок метнулся и рванул Карагёза за плечо. Клык располосовал тонкую кожу щенка, показалась кровь. Волчонок поступил не по правилам игры, он укусил по-настоящему и очень больно, как никто ещё не кусал Карагёза. И Карагёз понял, что предстоит не игра, а что-то другое. Он понял, что перед ним враг. Карагёз пытался зайти сбоку волчонка, но всегда наталкивался на оскаленные зубы. Правда, теперь волчонок не мог больше укусить волкодава, но он не давался Карагёзу и даже успевал отбиваться от наступавшей с другой стороны Джан.

Щенки остановились.

Карагёз словно отыскивал способ нападения на чужака.

Волчонок воспользовался этой нерешительностью и кинулся на него. От этого удара Карагёз упал и несколько раз перевернулся. Волчонок успел укусить его ещё два раза. Карагёзу грозила смертельная опасность. Упавшего легко убить. Спасла брата Джан. Она ударила грудью волчонка в бок. Тот упал, и это был его конец. Карагёз вцепился в горло врагу. Ещё несколько минут возни, и из клубов пыли показались судорожно дёргавшиеся ноги волчонка. Вскоре он затих. Щенки подошли к мёртвому волчонку и долго обнюхивали его.

После этого Карагёз и Джан отошли и принялись зализывать раны. Магомет, увидев, что победителями вышли щенки, направился к дому. Дело сделано. Первое испытание щенки выдержали, хотя и дорого заплатили. Иного обучения чабан и не предполагал. Волкодав должен ещё щенком пройти такую битву. Если он погибал в первом бою, значит, не годился в охрану и не мог стать надёжным защитником овец.

* * *

И ещё один урок преподавал Магомет будущим сторожам. Зима выдалась морозная, старые собаки искали защиты от ветра во дворе, в укромных местах, но таких, откуда они могли слышать и видеть всё происходящее около овчарни.

Карагёз и Джан в морозные ночи старались пробраться в тёплую овчарню, но каждый раз

Магомет беспощадно выбрасывал их на мороз и ветер.

Щенкам нужно закаляться в суровых условиях.

Следующую весну Карагёз встретил сильным, он был значительно выше сестры и Шайтана, с широкой грудью и мощными лапами. Никто никогда не слышал, чтобы Карагёз скулил или лаял. Только в драках он рычал. Джан была слабее, она могла жалобно скулить, если её кто-либо обижал.

В холодные ночи, когда начинали кричать шакалы и выть волки, Джан не выдерживала и присоединялась к их концерту. Впрочем, даже Шайтан любил выть ночами. Карагёз слушал враждебные голоса ночи. Шерсть на шее и спине у него поднималась, он никогда не выдавал себя ни лаем, ни воем.

Магомет любил Карагёза, конечно, по-своему. Он часто сурово воспитывал в Карагёзе нужные для волкодава-овчарки качества. И Карагёз оказался способным учеником. Теперь он брал пищу только от старика. Но ему нужно было ещё многое узнать и запомнить, и в том числе такое, чему не мог научить чабан. Этому научил его Шайтан.

В конце апреля Магомет впервые взял с собой на пастбище Карагёза и Джан. Молодые собаки и раньше бегали в степь за овцами, но их всегда отправляли обратно, а в тот день Магомет приказал им идти по сторонам стада. В поле молодые почуяли много запахов. Карагёза соблазнил запах незнакомого животного, и он побежал по следу.

Напрасно грозно рычала ему вслед мать и громко кричал помощник Магомета Гасан. От оскалившей зубы старой овчарки Карагёз увернулся.

— Шайтан, научи его порядку!

Понял ли слова пастуха опытный вожак или он и сам был недоволен щенком, — Шайтан быстро нагнал нарушителя, сильным ударом грудью свалил его с ног. Над поверженным ослушником оказалась свирепо оскаленная морда Шайтана. Но Карагёз оказался до конца непослушным. Он не хотел признавать власть вожака и в ответ зарычал и укусил Шайтана. Джан во время опасности всегда прибегала на помощь брату, и в этот раз она примчалась к нему, но Шайтан просто оттолкнул её ударом лапы.

Рассвирепевший Шайтан без жалости кусал поверженного щенка, и, не вмешайся Магомет, Карагёзу пришёл бы конец.

Карагёз запомнил и этот урок и больше не отвлекался от обязанностей сторожа.

* * *

Возвращаясь со стадом, Шайтан учуял следы волков. По этой тропе волкодавы направились в лес. Впереди бежал Шайтан, за ним Джан, сбоку рысил Карагёз, а последней бежала мать молодых сторожей.

Волки схитрили, они сделали полукруг. Три волка одновременно кинулись на собак, когда те их не ждали. Прибылой волк, несколько моложе Карагёза, хотел его сбить, но тот устоял. Из первой схватки с волчком Карагёз твёрдо усвоил, что упавший наполовину погиб. Так оно и произошло. Прибылой волк упал, и Карагёз не пропустил удобного случая вцепиться в горло врага.

Старый волк дрался с Шайтаном. Оба оказались достойными противниками, оба сильные и опытные бойцы. Шайтану едва ли удалось бы справиться с волком, но подоспел Карагёз, и вдвоём они быстро прикончили разбойника. Мать и дочь сражались со старой волчицей. Мать истекала кровью, волчица сильно ранила ей шею, но, даже погибая, мать защищала Джан. Шайтан ударил волчицу сбоку, а Карагёз схватил её за горло. Через несколько мгновений волчица была убита. Остальные волки убежали.

С этого вечера Карагёз и Джан стали равными среди равных.

* * *

Перед второй весной погиб старый и опытный Шайтан. Он встретился один с шестью голодными волками, и от него остались лишь кости и клочки шерсти.

Днём чабаны решили устроить облаву на волчью стаю, и как-то само собой случилось, что обязанности вожака принял на себя Карагёз. В этой битве он уничтожил ещё двух волков.

С этого дня все дневные и ночные обязанности по защите овец и поддержании порядка легли на молодого вожака. Старые и более опытные волкодавы признали его власть и охотно подчинились Карагёзу.

* * *

Волки живут зимой впроголодь. Чабанам и овчаркам в эту пору нужно быть особенно бдительными. И не только ночью, но и днём. Подкрадываясь к стаду, волки отлично маскируются в бурьянах. Магомет и его помощники — младшие чабаны, выпасая овец, всегда ходили с ружьями. Но главный сторож — Карагёз замечал волка раньше пастухов и остальных овчарок.

Карагёз остановился и стал сильно втягивать воздух. Шерсть у него на загривке вздыбилась. Ветер донёс запах волков. Прижимаясь к земле, используя для прикрытия каждый бугорок и кустик, Карагёз пополз в сторону бурьяна против ветра, доносившего всё ясней враждебные запахи.



Магомет снял ружьё с плеча и негромко крикнул Гасану и остальным овчаркам:

— Береги! Волки близко!

Псы начали плотней сбивать стадо, а Гасан торопливо прошёл налево, охраняя овец с этой стороны.

Волки поздно увидели Карагёза. Он находился от них на расстоянии короткого прыжка.

Молодые волки бросились бежать, а тяжёлая волчица, ожидавшая волчат, не смогла.

Волчица повернулась мордой к Карагёзу.

Карагёза не испугал свирепый вид волчицы. На мгновение он остановился, словно оценивая положение. Карагёз всегда старался нападать первым, и в этот раз его удар грудью оказался стремительным и сильным.

Волчица успела только один раз укусить овчарку в плечо.

Карагёз некоторое время стоял над поверженной волчицей, а потом, наскоро зализав раны, прихрамывая, побежал к стаду овец. Своё дело он выполнил.

Пум

Никакие ухищрения, наказания, ласка, вкусная еда не помогали. Трёхгодовалый пёс удирал из дома, едва я уезжала на работу. Обрывал цепь. Выламывал штакетины. Крошил клыками заплаты на заборе. Обрывал или стаскивал с ключьями шерсти самые тугие ошейники. Уходил крышей дровяника, приспособив как трамплин угольный ящик. Вырывал под воротами ямы. Удирал в любое время суток и года, голодный и сытый, несмотря на мольбы и истошные окрики моих домочадцев.

В нынешние суровые февральские стужи Пум возвращался заиндевелый, с сосульками в бороде и усах, с помороженными мякишками лап и гнойными глазами. На жесткошёрстной шкуре не успевали зарастать рваные собачьи покусы и множество иных ссадин неизвестного происхождения.

Однажды после двух дней «загула» Пум еле приковылял со стальным обломком вил в бедре и размочаленной верёвочной петлей на шее. Проспал непробудно две недели. Отъелся. И, хромая, снова ушёл в рискованные странствования.

У деревенских мальчишек Пум пользовался безграничной популярностью. Когда я вёл пса на поводке, эти горластые сорванцы меня не замечали, но каждый неизменно приветствовал Пума.

— Пристрели кобеля, — советовал мне посельчанин Бургасов, охотник по белке и страстный «лаечник». — Не будет прока. Выродок. Чтоб не поганил породу, стукни.

А сосед Алексей Павлович Ротко при встречах не без ехидства сообщал:

— Твий там шарыт по дворам. Шалый! Як пыть дать, вин породистый! Ха, ха!.. От мий дворняга Мизер, а вин прэдан!.. Загоны свого на опычем базир. Хороше гроши дадут. Окупишь тэ, шо затратыв. Як пыть дать, свыснуть твого! Шалый, а шо з его возмышь, шалый и есть!

После слабенького спаниеля Луки и нервного неженки пойнтера Графа я несколько лет подыскивал себе подружейную собаку по нраву: легко управляемую на охоте, выносливую и главное — надёжного друга, который признавал бы только меня, а не всех людей в болотных сапогах или с колбасой.

Я выходил Пума ещё пузатым щенком, обречённым чумой на гибель. Выкормил, разжёвывая и заталкивая пищу в полуживое безвольное тельце. Я знал, как после преданной собаки.

Щенок получил скверное осложнение и частенько уже взрослым поганил полы. Однако я не сменил его, успев привязаться.

Пёс вырос на славу: рослый, глубокая грудь до локотков, крепкие выпуклые рёбра, сухая жёсткая мускулатура, слегка приспущенный, хорошо развитый круп. Породистость сказала и в поразительной смыслёности.

Сколько раз, подминая тростник, увязая, ползком, хрипя, Пум находил в непроходимых крепях стреляную утку или в берёзовом мелколесье, азартно идя «верхним» чутьём, распутывал наброды старого хитрого черныша! А сколько ледяных ночей напролёт мы мёрзли, согреваясь бок о бок на общей лежанке из елового лапника, припорошённые инеем, взбудораженные хлопаньем крыльев, криканьем жирной пролётной северной утки.

Пум «ударился» в бега с первого часа нашего переселения в посёлок. Меня очень уязвило предательство. Много раз в бешенстве жестоко карал пса. Он ни разу не пожаловался под арапником, покряхтывал по-мужски да поджимал обрубок хвоста.

Помалу я смирился, что Пум неизбежно пропадёт. И в отчаянии обзавёлся русско-европейской лайкой — чрезвычайно милым месячным щенком Зейкой.

В мае посёлок наводнили дачники. Вольный охотничий пёс страшал их своим дюжим видом. Даже при мне случались истерики. Он него «оборонялись» палками, чего Пум не сносил и палки, естественно, изымал. Конечно, ручаться за животное нельзя, но я жалобам не верил. Я твёрдо знал: мой Пум сам не придерётся. Больше того, горожан презирает. Эти хилые крикливые существа не могли бегать, как он, валяться с ним в траве, не грызли сочных мозговых косточек и не умели лаять — лишь, бледнея, вытягивались или заискивающе лебезили. И от них не разило сладкой псиной завязтых собачников.



Но моё терпение иссякло. Я раздобыл пятиметровую могучую цепь из тех, на которых держат быков. Смастерил из сыромятного ремня широкий ошейник и надёжно примкнул Пума к будке.

Пёс мучительно свыкался с неволей. Похудел. Часами неподвижно лежал в будке, безразлично выставив с порожка длинную ушастую морду, лениво поводил глазами. С моим появлением не унижался просьбами погулять, а громко с надрывом зевал и отправлялся на угольную кучу: мол, как издеваются над бедной собакой!

Вскорости забывался и, разомлев на солнцепёке, блаженно дремал. Цепь постоянно перекручивалась, и Пум страдальчески, но опять-таки без скулежа, таскался с толстенными железными узлами.

Под вечер он садился перед будкой. И задумчиво смотрел сонными неласковыми глазами на лес, вынюхивая воздух.

Впервые целых три недели пёс провёл дома.

Обычно по возвращении из Москвы, пообедав, я отмыкал Пума. Минут пять, взбрыкивая, он ошалело носился по двору. Затем лаял басом, сузив на меня коричневатые глаза — звал в лес.

Июньское солнце стояло долго.

Мы переходили речонку возле мостков для полоскания белья. Пум проделывал это длинным прыжком. Я — по шатким брёвнышкам.

Пум галопом уходил по трясине. Взивался свечой, чтоб доглядеть меня, мчался дальше, вороша осоку, высокие сочные стебли, молодой тонкий ивняк. Я вязнул в резиновых сапогах, потел, еле-еле тащился, окликаю пса. Он приносился, жарко дышал на меня, вывалив гибкий розовый язык, весь в пыли увлекательных впечатлений. Нетерпеливо повизгивал. Прихватывал траву, глотал.

Я жестом отсылал его. А сам чахлыми берёзками, зарослями ивняка, бузины, через запахи грибов, согретой в болотинах ржавой воды, земляники, лежалого, созревшего листа взбирался по заилённому косогору. Смазывал с лица и шеи комаров. Клял жару.

А наверху валился в траву — некошеную, не вытопанную стадом, упругую гриву. Звал Пума. Он намётом выходил ко мне. По взмаху руки покорно плюхался рядом. Часто дышал. Растревоженно выхаживали бока.

— И в кого ты такой? — говорил я, поглаживая горячую сухую шкуру. — Не солидно, четвёртый год тебе, пора остепениться. Вот изловят, а ты хворый. Ну кто согласится выгуливать тебя по восемь раз в день? Поселят на улице — в большой холод отлетит твоя душа к богу на бал... Нет, маяться не станут. Сплывят, а то и просто усыпят. А ты удираешь... да не кряхти, отпущу, погоди.

Я мял его морду. Он капризно уворачивался, замороженный шорохами леса, птицами, наплывами запахов.

Я опрокидывал его на спину. Он противился. Иногда просил побороться, покусывая ладони.

Я наваливался на него. Стискивал ладонью пасть. А свободной рукой держал ближнюю ко мне лапу, чтоб не порвала меня.

Пёс отчаянно выворачивался, рычал. Позлив, отпускал его. Он отпрыгивал. Лаял. Снова нападал.

Опять подминал его под себя. Во всю длину ощущал мускулистое, напряженное тело, клёкот дыхания. Если я не поддавался, пёс обиженно гавкал, встряхивая развесистыми брылями.

Отдохнув, я командовал: «Гулять!»

И пёс с готовностью нырял в заросли.

Я брёл за ним. Где-нибудь на опушке снова ложился в траву. И чувствовал, как прямо пахнет трава, опетая голосистыми кузнечиками. И как, кружа голову, скользят грудастые белые облака. И какой удивительный цвет у неба — голубая бирюза.

Сбивал щелчками с рубахи божьих коровок, муравьёв, усатых зелёных тварей. Беспокоил рукой сонную гривастую траву.

Как обычно, на порубке трещали, цыкали, высвистывали нежно, по-флейтовому дрозды-белобровики, наевшись в сыром малиннике. Ближе к дороге в Роцино резко посвистывали юркие короткохвостые поползны. В пойме речонки лениво настраивали голоса первые ночные

соловьи и ярились, сердито цокая между длинными песнями, изящные черноголовые славки. И по всему лесу солнечно журчали хрупкие пеночки-веснички.

Через редколесье я видел поле, опушённое зеленью всходов, далёкую полосу серебристо-зелёной осоки — начало гибнущего в ряске, тростниках, камышах и осоке большого прежде лесного озера — и плотные перекаты голубоватых елей до самого горизонта.

Мы блуждали с Пумом допоздна. Потом я снова сажал его на цепь. Случалось, по несколько дней, а то и с неделю не разминал пса, занятый работой, оглохший от зноя, электричек, московской толпы. Отлёживался на веранде.

Тогда Пум хирел на глазах. Ел неохотно. Не радовался нам. И выл ночами. Выл жутко, словно по беде.

Вызволнение для Пума наступило неожиданно.

Алексей Павлович Ротко наконец одолел сопротивление «жинки» — коренной подмосковной жительницы — сбыв дом и «вырнувся на ридний край» — станицу Кушевскую, Краснодарского края.

Новые хозяева не стали церемониться с Мизером. Поплутав по свалкам, пёс мирно поселился под нашей калиткой, кроме меня, не пуская во двор ни своих, ни чужих и лишив нас почты. Пришлось этого добровольца отправить на цепь вместо бедолаги Пума.

Я стал владельцем трёх совершенно несхожих нравами собак, среди которых Мизер выделялся своей серьёзностью.

У этой коренастой, добротной сбитой дворняги волчьего серого окраса было тёмное зеву — по общему мнению, признак злобности. Но пёс этого не знал и на пришельцев набрасывался исключительно со страху и при первой же ласке пасовал. Вообще его переполняла нежность к людям.

Горевал Мизер в крайности, если долго не выносили кашу. И панически боялся любого лечения. Когда ему делали прививку от бешенства, пёс отчаянно вопил, отбивался, потом рухнул на спину, закатил глаза и зашёлся пеной. Я вынужден был объясняться с посельчанами.

Однажды ему закапывали альбуцидом воспалённый глаз. Я впервые видел у здорового животного такие конвульсии. После он высидел над тазом с водой не менее двух часов. Покачиваясь, истерично икал и тёр мохнатыми лапами морду, отвергнув подношение из сырых мясных обрезков. Впрочем, испытав быстрое исцеление, а зуд намучил его изрядно, Мизер всю неделю не давал нам прохода, назойливо подставляя свой карий здоровый глаз.

Пёс оказался на редкость компанейским. Ежели ему претила вода, а рядом из таза всюю наливался Пум, — непременно присоединялся, еле-еле мокая кончик языка. Он жестоко ревновал нас к Пуму. Не раз я замечал, как он беззвучно отгонял того клыками. По-братски обожал вертлявую Зейку, позволяя вытворять с собой что угодно.

С появлением «заместителя» Пум без промедления пустился в «бега». Снова посыпались жалобы. Снова пёс приходил голодный, измученный. Погружался на сутки в целительный сон, суча в бреду натруженными лапами, поскуливая от боли в новых ссадинах, покусывая воспалённые мускулы.

Пока я собирался сколотить другую будку, он пропал. На рассвете удрал в окно, вечером не явился. Назавтра спозаранку я обшарил посёлок, но нигде не заметил пятнистой шкуры Пума.

Прошли сутки, потом ещё. Мы поняли, что пёс не вернётся.

На третий день я отдыхал после работы на крыльце, лаская на коленях Зейку. Лаечка старалась повсюду поспевать за мной. Я поглаживал чёрный тугой животик. Зейка ворчливо прихватывала мои пальцы острыми шильцами-зубками, по-кошачьи наддавая задними лапками.

— Маша, поищу-ка я Пума, — сказал я жене. Она вышла на крыльцо.

— Ой, как надоел мне этот неблагодарный пёс! Дня без скандала не обходится, хоть совсем пропал бы!

Мизер уже млел в ногах у жены. Весь досуг без цепи наш новый дворовый страж проводил на крыльце в ожидании вкусных подачек, признавая мою Машу своей полновластной владычицей. Всякий раз, когда Маша появлялась, он тыкался ей в руки тупым носом и горестно вздыхал: дескать, на тебя только и надежда сиротинушке.

Мизер, безусловно, подкупил жену. Маша благоволила к толстой, как сибирский валенок, дворняге, одаривая косточками и называя Ванечкой.

Из ревности к Пуму я дразнил Мизера Министром Внутренних Дел.

— Ванечка, Ванечка... — Жена тормошила дворнягу. Та умильно высовывала язычок и натужно сопела. Ласки Мизер ценил почти наравне с кашей.

— Я недолго, Машенька, — пообещал я, поспешно уходя со двора.

Я навестил соседние деревни, но Пума в последние сутки там не встречали. В полночь, изрядно заморясь, тихонько возвращался домой.

Возле магазина наткнулся на Пирата, чёрную лайку с белой шерстяной манишкой на груди. Он враждебно отпрянул, готовясь к нападению на Пума, без которого я редко хаживал.

Пират щеголял в хозяинах своей улицы и с боем отстаивал своё право у всех пришельцев, особенно у бесцеремонного Пума. Обычно, завидев друг друга, они замирали. Потом медленно, с остановками сближались, дрожа негодованием. Днём предпочитали разойтись, порыча, что, очевидно, означало крепкую перебранку. Но в сумерках или ночью обязательно сцеплялись. Уж очень нагло влетал в Пиратовы уголья Пум.

Чёрный Пират был гордым псом, хотя не гнушался подачками, но лишь от знакомых или тех, кто обнадёживающе пахивал собакой. Я свистнул Пирату. Лайка сторожко подобралась, вопросительно наставила на меня острые ушки.

— Что, дружба, осиротели мы? — Я нагнулся, оглаживая лайку. После Пума её шуба казалась плотной, мохнатой. — Эк надурил наш Пум... — Пират заулыбался, оскалив клыкастую пасть. Завилял скрученным к спине хвостом.

Я поднял лайку на руки, почёсывая белую манишку. От удовольствия она заурчала. Однако чуткости не потеряла, рыская глазами по дороге.

Лениво сгущались поздние июньские сумерки — призрачное свечение, которому так и не суждено стать непроглядной ночью. Я опустил Пирата. Легонько зашагал к дому.

Я знал тропинки. Не западал в рытвины. Огибал мусорные свалки, печальные спутники дачных окрестностей. Вышел на край улицы. Здесь на просторной поляне любил побродить Пум.

Миновав горбатый железный шлагбаум, я свернул к речке. Под уклон зашагал быстрее. Из стожка свеженакошенного сена метнулась знакомая пятнистая тень — Пум!

— Ко мне, Пум! Ко мне!

Тень стремительно набирала ход.

— Пум! Пум!

Ещё десяток метров, и она скроется за поворотом.

— Пум, ко мне! Пум! — Я резко свистнул, как на охоте. Пум уходил. И я знал почему — страшился побоев. Я стал чужим ему. Захолодила обида.

— Пум! Пум! Пум!

Собака уходила за поворот — стремительная сероватая тень.

И тогда я начал униженно просить:

— Пум, Пум. Хороший. Умный... — Я придавал голосу самые сердечные интонации. Я журчал.

Тень вздрогнула. Замедлила ход.

— Ко мне, Пумушка! Иди, хороший! Иди, умный!.. Тень осадилась. Поползла навстречу.

— Пумушка, Пумушка...

Было неловко за побои. За цепь, которой привязывал его. За грубые пинки в приступах гнева. За угрозы продать и пристрелить «предателя».

Я осторожно двинулся навстречу. Похрустывали под ногами песок и камешки. Через дорожку врассыпную скакали лягушата.

Пёс распластался передо мной на брюхе. Положил морду на ботинок. Зажмурился. Часто-часто вилял хвостом-обрубком. Запавшие бока будоражило дыхание.

Из травы на мой голос, шурша, вывалилась крошечная Зейка. Нежно лизнула Пуму в нос. Он чихнул, смущённо подобрав брыли.

— Что ж, посумерничаем, — сказал я Пуму.

За речкой на горизонте гасла скупая заря, подёргиваясь розовато-пепельным налётом. Нас окружали скудное красками чистое небо, тёплый молочный сумрак и безмолвие.

Мы стали спускаться к речке. Навстречу чётким отражениям зарослей в её матовой глади. В душные ароматы болотных трав, торфа. Смолкнув, зашуршал в ивняке соловей. Светлой лентой крутилась песчаная дорожка. Зейка боялась далеко отлучаться со двора. Отстала, поскуливая.

Белым зайчиком замелькала на косогоре её пуховая манишка.

Пум угрюмо трусил сбоку. Волнилась мышцами шкура на прямой широкой спине с едва заметным желобком вдоль позвоночника.

На зоревых разводах стили вершушки ельника — чёрные, чёткие, неподвижные.

За оградами темнели дома, корявились яблони, шебаршились в скворечниках повзрослевшие скворчата. Высоко в небе пронёс свои огоньки самолёт. С роздыхом старательно выщёлкивал соловей над речонкой.

Я сказал:

— Значит, бросил меня, пятнистый? Пёс понурил голову.

Мы ступали беззвучно, как на охоте: в белом сумраке, в дурманящем исходе соков трав, цветов, шиповника и акаций, в белёсых наплывах речных испарений, сонной недвижимости природы.

За околицей нас долго провожал липовый обильный дух. Деревья зацвели нынче в вечер. С утра тут пахло только сыростями луга: землёй, зеленью зрелой травы, горьким соком раздавленных одуванчиков.

Лоб опоясала паутинка. Я смахнул её. Ветерок скрипнул на косогоре незапертой калиткой, иссяк, зашуршав листвой.

Набирала силу задумчивая безлунная ночь. Ночь без теней, ровно высвеченная беловатыми сумерками. Казалось, мы парили в ней. Сбоку у плотины плеснула водяная крыса.

Я встречался с ней, когда купался в студёном запрудном разливе. В прозрачной воде её было хорошо и долго видно... Пум настороженно потянул носом.

— Ладно, ты прости меня, — сказал я Пуму.

Пёс вздрогнул, замедлив шаг. Он давно уже обречённо ждал побоев, цепи и пощёлок.

— Ты прав. Конечно, ты прав. Ну кто я, чтоб судить тебя, лишать воли, понукать?.. Рыхлый, грузный человек, ни к чему толком не способный. Так... сохну в конторе. Мараю бумаги чертежами, а ничего путного не сделал. Вот как дышу. А живот? Жир складками. В боках широк. А ты?! Да не уворачивайся... ты весь из мускулов. Гибок. Смотри какая великолепная грудь!.. Ты прыгаешь, как летишь. На зависть неугомим. А живуч... Ты в природе свой, а я... Ты здесь дома. Тебе здесь всё понятно. А я?.. Разве слышу, что слышишь ты, видишь, чуешь?.. Здесь я гость. Ты не завидуй, Пум. Знаешь, как хотел бы видеть тут столько, сколько ты! Как ты всему этому радуешься! Я всегда завидую тебе. Хочу так же, а не умею... Нет, я здесь гость. Без квартиры, тёплой, с водой, электричеством, не выживу. Да что тебе рассказывать. Сам видел, чего я стою на охоте. Конечно, посмешище...

Я присел на корточки. Ласково примял морду Пума ладонями. Он опасливо высвободился. Робко лизнул в ухо.

— Напрасно не веришь... я ведь не тюремщик. Ты прав, пятнистый. Почему ты — крепкая псина — должен кому-то подчиняться? Мы все равны в этом мире, все-все!

В стожке я обнаружил лёжку Пума. Пёс тут поселился. Решил не возвращаться. Не мог

уяснить смысла жестоких наказаний и цепи. Своровать и погрызть ботинок, нагадить на пол, ослушаться — это ясно, это возбраняется. Но отчего нельзя рысать по лесу, мышковать, облаивать птиц, купаться в речке? И пёс предпочёл голод, камни прохожих, зелёный стог.

Я опустил в стог, обволакиваясь шуршащим сеном. Привлёк Пума. Сено пахло одуряюще сладко.

Пёс напряжённо лежал рядом и вслушивался в мою торопливую речь. А я говорил, говорил. Руки выщупывали клещей в Пуминой шубе. Отрывали. Я раздавливал их подошвой.

С речки бесшумно и мягко налетал козодой. Отворачивая от нас, скрывался в сумраке. Пёс, против обыкновения, не рвался за птицей.

Усталость природы — глубокая тишина и дремотный покой — разливалась тёплыми сумерками.

Сено покалывало через рубаху. Зыбкими писклявыми столбиками плясали комары.

— Жизнь не может быть ничьей собственностью... ты молодчина. — Я степенно разглаживал бархатистое ухо собаки на ладони. — Когда со мной скверно обходятся, тоже не радостно. А ведь я тоже ничья не собственность... Ты прости, Пум. Я никогда о таком не думал. Не со зла. Боялся потерять тебя. Ты прости...

Я теребил пальцами его жёсткую бородку, усы. Он увёртывался. Щёлкал на комаров челюстями. Тыкался на голос в ладони, грудь. Глухо рычал. Заглядывал в лицо.

Я спросил, ласково заламывая собачью морду к своему лицу:

— Почему ты не человек, Пум? Я встал. Стряхнул сено.

По пути к нам пристала Зейка. Как все уставшие дети, хныкала, путалась в ногах, ластилась. Пум осторожно переступал через надоедливый пушистый комок.

Я сказал:

— Ты с ним полегче, Зейка. Он у нас не признаёт рабских замашек.

Мизер издали почуял нас. Начал просительно взвизгивать, скрестись в забор. Взвизгивание походило на частые вскрики: «Ах! Ах!..» Он безумно завидовал нашим прогулкам.

Когда мы вошли, он сидел напротив калитки. Пыхтел, помахивая пышным хвостом. Подскочил к Пуму. Тщательно вынюхал его. Пришёл в восторг от мира, в котором странствовал Пум, его упоительнейших запахов. Заскулил, заахал ещё громче.

Пум, ещё не веря в мои добрые намерения, пугливо влез в будку. Зейка, позвякивая, стала облизывать пустую миску. Дома спали. На кухне светил слабый дежурный огонёк. Я сел на бревно возле будки.

Я сидел долго. Иногда Пум выбирался из будки. Тыкался мордой в колени. Я клал ладонь ему на спину. Пёс хлюпал горячим языком по моему уху — его самая интимная ласка. Я чувствовал, как мерно гудит у него под шкурой кровь, словно басовая струна на исходе звучания. Потом пёс безмолвно возвращался в будку.

Мизер, поблуждав по саду, подступал к будке. Жадно вынюхивал воздух. Усердно махал серым хвостом.

В примятой траве белели собачьи миски. Я принёс Пуму остатки супа. Мизер взволнованно заскулил. Пум есть не стал. Слабо повиллял хвостом в знак благодарности.

Линялыми редкими звёздами, богатыми пришлыми запахами потных лугов, свадебными хороводами мотыльков, сонным жваканьем коровы в соседском сарае, шелестами опадающих маков, нарастающими соловьиными трелями, комариным звоном, сопением собак, стуком моего сердца разворачивалась эта безлунная июньская ночь.

Исай Аркадьевич Рахтанов

Бичи

С Мартышкой дружба у меня большая. Всё это потому, что я часто пускаю для неё под потолок солнечного зайчика. Лучшего удовольствия Мартышке не доставить. Увидит она на стене светлый блик — начнёт прыгать выше своего роста, пойдёт стучать когтями по паркету, закружится, завертится.

Стоит мне прийти к её хозяину, Мартышка у дверей встречает меня и ведёт прямо к столику, где стоит бритвенное зеркальце, словно хочет сказать:

«Что же ты медлишь? Покажи скорей своего зайчика. Я-то знаю, что ты только за этим к нам и пожаловал».

У других собак я не замечал такой страсти к бегающему отблеску солнца под потолком. Мы с приятелем для себя даже объяснили это странное явление тем, что Мартышка — маньчжурская лайка.

Там, у себя на родине, в Маньчжурии, где на невысоких холмах, называющихся сопками, царствует тайга, лайка промышляет белку или другого мелкого зверька, обитающего на вершинах деревьев, она — охотник. Вот наша Мартышка, должно быть, и принимает быстро мелькающий по стене солнечный зайчик за пушистый беличий хвостик.

А что Мартышка маньчжурская лайка, мой приятель, сценарист Сергей Иванович Владимирский, выяснил случайно. Впрочем, и сама Мартышка попала к нему тоже случайно.

Дело было вот как.

На одной лестнице с ним, в большом доме по Гагаринскому переулку, года четыре назад проживал мальчик Алёшка. Ничего хорошего я вам про него, к сожалению, рассказать не могу.

Судите сами: учился наш Алексей так, что если бы вам непременно захотелось найти в его табеле пятёрки, табель пришлось бы перевернуть вверх ногами и глядеть на него в зеркало. Тогда бы оказалось, что у Алёшки действительно нет ни одной двойки. Он круглый отличник, только отличник наоборот, так сказать, вверх ногами...

В общем, парнишка мне этот совсем не мил, я хочу поскорее от него избавиться и расскажу вам о нём только то, что связано с Мартышкой.

Алёшка крал щенят и продавал их на птичьем рынке.

Занятие это было ему по вкусу, потому что приносило доход: за породистого щенка платили щедро. Случалось, что деньги он приносил матери, но ей они никогда не доставляли радости. Больше того, она определённо высказывалась против коммерции сына и время от времени

даже разбрасывала по двору и лестнице его пискливый товар.

Однажды, возвращаясь домой, Сергей Иванович Владимирский увидел около двери своей квартиры маленькое, мохнатенькое, плюгавое чёрно-седое существо. Он подобрал щенка, ещё полуслеплого, принёс к себе, выкормил из соски, назвал Мартышкой.

Ни на минуту за все эти месяцы не подумал он, какой породы собачка.

— Чем пёсик уродливее, тем он мне милее, — говорил друзьям Сергей Иванович. — А лучше Мартышки вообще никого нету. Смотрите, ей до человека разве что только речи не хватает, но ведь вот как хочется заговорить...

И Мартышка действительно почти что говорила, во всяком случае, когда ей приказывали: «Выскажись!» — она в ответ произносила на своём собачьем языке длинные заунывные речи.

Пришло время нести её к ветеринару.

Бывают два месяца в году, когда всех московских собак обязательно надо регистрировать и делать им прививки против бешенства. Это март и апрель.

Вот в апреле Сергей Иванович понёс Мартышку на регистрационный пункт.

Ветеринар медицинской трубкой выслушал собачку, сделал ей в заднюю ножку укол, а потом говорит:

— Чудный пёсик, только безнадежно испорченный. Ему бы хорошего хозяина...

Сергей Иванович обиделся: не он ли сам из соски вскормил собачью малявку.

— Этого мало, — строго сказал ветеринарный доктор, — к собаке надо правильно относиться. Выкормить — это каждый может. Надо было ей хвост обрубить и сшить уши. Тогда бы была собака.

— А мне хвостик, — робко сказал Сергей Иванович, — очень нравится. Видите, товарищ доктор, белое пятнышко... И потом, ушки — разве они плохо стоят?

— Не могу слушать этот непрофессиональный разговор, — ещё строже сказал доктор, — вы хотя бы знаете, что это у вас?

— Конечно. Мартышка.

— «Мартышка!» — передразнил доктор. — Никакая это не Мартышка. Это айриш пинчер, по-русски ирландский пинчер.

И доктор замолчал, давая понять, что ему больше нет охоты продолжать непрофессиональный разговор.

Сергей Иванович ушёл домой, и Мартышка стала айриш пинчером. Она продолжала быть им, кажется, два года. До тех пор, пока, гуляя со своим хозяином, не повстречала на Гоголевском бульваре точно такую же лохматую, низенькую, словно стелющуюся по дорожке собачку.

Двойника Мартышки вёл на сворке человек, одетый не так, как обычно одеваются москвичи: на нём был брезентовый плащ с капюшоном и грубые кирзовые сапоги.

— Что это такое? — крикнул он, завидя Мартышку. — Откуда это у вас?

Само собой понятно, что Сергей Иванович смутился. Ведь не рассказывать же незнакомцу про Алёшку, про его неблагоприятные занятия.

— Это айриш пинчер, зовут Мартышкой, — сказал Сергей Иванович и в ответ вдруг услышал такую фразу, какой менее всего ждал.

— Опять этот бред! Сколько раз на Дальнем мы слышали его! Не такой породы «айриш пинчер». Есть ирландский сеттер, знаменитая рыже-красная охотничья собака, а пинчеров ирландских нету. Всё это придумали любители иностранщины. Вот я из-под Владивостока, везу показывать в Москве родного брата вашей собаки. Сам я в питомнике там работаю и говорю вам ответственно, как специалист, — ваша собачка никакой не пинчер и не сеттер, а лайка, маньчжурская лайка.

Так Мартышка стала маньчжурской лайкой, а мы с Сергеем Ивановичем выдвинули теорию перехода беличьего хвостика в солнечного зайчика.

Прошло ещё два года.

Мартышка принесла двух чёрных с жёлтыми пятнами и третьего щенка такого, какого нам никогда прежде видеть не доводилось. Был он рыжий, полосатый, похожий больше на котёнка, чем на щенка.

— Этот пусть будет мой, — сказал я Сергею Ивановичу, даже не разобрав, кто это — девочка или мальчик.

Под бдительным присмотром Мартышки и Сергея Ивановича щенок мой прозрел и к тому времени, когда стало можно его отнять от матери, превратился в очень милое создание непонятной масти и ещё менее понятной породы.

Незадолго перед этим мне пришлось побывать в командировке в Грузии. Там, в Тбилиси, я услышал грузинское слово, которое мне очень понравилось: «бичи», «бичо», «бичико» — мальчик, мальчонка, мальчишка.

Так я и решил назвать своего щенка.



Мы всегда теперь со столбика до столбика гуляем с Бичи по Кропоткинской. Может, вы нас не однажды встречали и, может быть, именно вы спрашивали меня:

— Дяденька, какой она породы?

Таких вопросов было очень много, очень часто ребята приставали ко мне с ними. И тогда я придумал для своего Бички удивительную редкую породу. Я стал говорить, будто он — австралиец, будто его привезли с собой наши спортсмены, выступавшие на Мельбурнской олимпиаде. Называется эта порода «кинглу», и охотятся эти самые кинглу на кенгуру, а живут в эвкалиптовых зарослях...

И представьте, мне верили. Ни у кого не вызывало сомнения, что мой Бичка не коренной москвич, родившийся в Гагаринском переулке, а что он действительно происходит из далёкой Австралии. Часто меня даже спрашивали сердобольные люди:

— А нетрудно ему, бедняжке, даются русские снега?

На этом, пожалуй, можно было бы и поставить точку, если бы с Мартышкой или, вернее, с выяснением её породы не случилось ещё одного превращения.

В этом году Сергей Иванович снова пошёл на ветеринарный пункт, чтобы перерегистрировать свою собаку.

— Она у меня беспородная, — нарочно заявил он, желая узнать, что теперь скажет ветеринарный врач.

— Зачем вы обижаете свою собачку? Совсем она не беспородная. Это настоящий чистокровный скоч терьер.

— Как скоч терьер? Ведь у них утюгообразные морды, а у моей остренькая.

— Бывают разные скочи, — возразил врач. — Утюгообразные встречаются чаще, остренькие реже...

Так Мартышка стала ещё и скоч терьером.

Я не знаю, кто мой Бичи, и, честно сказать, не интересуюсь этим, продавать его на рынке, как сделал бы это Алёшка, я не собираюсь, а товарища не спрашиваешь, какой он породы, его ценишь за другие качества — ум, преданность, постоянство, ценишь за то, как он смотрит тебе прямо в глаза, безмолвно, но кратчайшим расстоянием проникая в самую душу.

Случилось так, что по неопытности мне пришлось зарегистрировать Бичо дважды, и вместо одного укола против бешенства на первом году своей жизни он получил их два. У него не одно, а два регистрационных удостоверения: в первом сказано, что он «метис маньчжурской лайки», во втором — «митис боксёра»...

Видимо, не шибко грамотный по орфографической части ветеринарный доктор из-за необычайной полосатой раскраски предположил, что отец щенка — боксёр.

А в самом деле, кто он, отец?

С точностью ответить на это, конечно, могла бы только Мартышка, но ей до человека как раз речи-то и не хватает...

Что же касается меня, то я горд уже тем, что оба ветеринара — и грамотный и неграмотный — квадратной печатью райветлечебницы удостоверили, что в моём Бичико есть что-то от тигра. В обоих паспортах против графы — «окраска» написано: «тигровая», «тигристая».

Однако и это не требует никакой печати. Едва мы с Бичи появляемся на Кропоткинской, взрослые и дети все говорят нам вслед:

— Откуда такой тигр?

Василий Иванович Белов

Малька провинилась

Как-то зимой, по снегу, я пошел к Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка. «Что такое? — подумалось мне. — Кого это Лидия так честит?»

— Кривоногая! Шельма! — слышался за дверью голос Лидии. — Чего уши-то выставила? Ох, блудня! Ну, погоди! Не стыдно тебе в глаза-то глядеть, батявке? Не стыдно?!

Я вошёл в комнату. Лидия поздоровалась со мной и продолжала ругаться:

— Ремень-то бы взять да и нахлестать! Либо совсем на волю выставить, бессовестную!

Оказывается, Лидия ругала Мальку. За то, что та принесла двух щенят. Малька с недоумением глядела в глаза хозяйке, виновато мотала хвостом и не понимала, за что её так ругают. Я поглядел под лавку: там в старой шапке-ушанке беспомощно барахтались два крохотных кутёнка. Малька едва не вцепилась мне в нос.

— Сиди! — осадил её Лидия. — Сиди, никто не возьмёт твоих шаромыжников! Кому они нужны...

Лидия ругала Мальку два дня, на третий сказала:

— Ладно, пускай живут.

Потом я слышал, что одного щенёнка забрал тракторист, который часто проезжал через деревню. Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен принесла рыжего молодого кота. Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому Малька, наверное, не очень-то ей было приятно. Лидия, во всяком случае, была довольна.

Деревня, где я жил, размещалась на горке, а на другой стороне засыпанной снегом речки, тоже на горке, стоит другая, соседняя деревня. Летом через речку ходили по лаве. Лава — это два стёсанных бревна, перекинутых с одного берега на другой.



Тропка на ту сторону оставалась прежняя, люди и зимой ходили по лаве, хотя можно было и по льду, напрямик. Я каждый день катался тут на лыжах. Однажды смотрю: по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. Одна-одинёшенька. Бежит домой деловито, ни на что не оглядывается. Кривые ножки так и мелькают на белом снегу. На следующий день — опять. Я удивился: куда это она бегаёт? Да ещё каждый день и всегда в одно и то же время. Спросил у Лидии:

— Куда это Малька каждый день бегаёт?

— Да кормить! — весело пояснила Лидия. — Изо дня в день так и бегаёт, ничем не остановить. Уж я её ругала и в избе запирала, всё впустую. Только отвернёшься — готово дело. Была да нет, побежала кормить своё дитяtko.

Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. Каждый день за два километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегаёт кормить своего сынка. Не каждая так может.

Василий Иванович Белов

Еще про Мальку

Так Малька и бегала ежедневно в ту деревню. Она ни разу не забыла свою обязанность. Между тем со всех сторон наступала весна. Снег таял, и речка сначала потемнела, потом разлилась. Малька всё бегала по лаве на ту сторону. Теперь, если и захочешь не по лаве, то не переберёшься на тот берег.

Как-то утром я пошёл за водой, смотрю: за ночь река так разлилась, что вода подступила к самым баням. Широкое водное плёсо заполнило всю низину. Федя уже ездил на лодке, приглядывая места, где можно поставить верши. Весело свистели прилетевшие ночью долговязые кулики. Постой, а где же лава? Я взглянул на то место, где обрывалась тропинка, и обомлел. Брёвен-то не было. Ночью их подняло водой и унесло. Всё. Связь с тем берегом оборвалась, подумалось мне, проехать можно только на Фединой лодке. А как же Малька?

Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала к воде, сунулась туда, сюда. Везде одна вода, и лав не было. Малька ступила в воду и вдруг поплыла. Такая маленькая беспомощная собачка и не испугалась широкой быстрой реки и холодной воды! Я с волнением глядел, что будет дальше. А что дальше? Малька, видимо, изо всех сил плыла наперерез струям, но её несло всё дальше. Сил у неё было немного, а течение быстрое, и вот её несло по реке. Когда Мальку пронесло мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. Но всё напрасно. Малька стремилась на тот берег. Я видел, как она, видимо выбиваясь из сил, с головой окунулась в воду. Я закричал Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам видел, к чему идёт дело, он поставил лодку поперёк течения и подправил её веслом, чтобы поймать собачонку.

— Ой дура! Куды сунулась, — приговаривал он. — Ну, матушка, давай, давай сюда!

Он бросил весло и рукой выхватил Мальку из ледяной воды. Наверное, ещё немного бы — и она захлебнулась, потому что была еле жива.

— Матушка! — уговаривал её Федя. — Да разве дело? Его, дурака, ещё и кормить! Ведь большой уж, наверное, обормот, а ты всё бегаешь.

Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода и ставшую совсем крохотной Мальку.

— Беги, беги домой! — сказал он и обернулся ко мне. — Что значит животное.

И мы оба ещё долго дивились Малькиной материнской верности.

Александр Батуев

Приблудный

Матвей Егорович возвращался с работы.

Когда он выходил с вокзала, к нему приблудился несуразный белёсый пёс. Был он тощий, облезлый и очень нескладный. Сразу было видно, что он бездомный. Собака долго шла за стариком, не отставая, словно он её хозяин. Когда старик оглядывался, собака прижимала уши и несмело виляла хвостом, готовая при первом же окрике пуститься наутёк. Было что-то трусливо-жалкое и в то же время трогательное в этой собаке.

— Наверное, голодная! — пожалел старик и подозвал собаку.

Пёс порывисто бросился к Матвею Егоровичу и, просительно заглядывая ему в глаза, остановился.

— Что, дружище, небось несладко бродяжничать? Ну да ладно, сиди здесь, я сейчас тебя колбасой угощу! — И старик зашёл в магазин.

Словно поняв смысл сказанных слов, пёс уселся около магазина, внимательно глядя на дверь.

— Ну, пойдём, приبلудный, ужинать, — весело сказал железнодорожник, выходя из магазина, — да отойдём-ка подальше, в тень, а то уж очень у тебя вид неказистый!

Собака глотала куски колбасы, даже не пытаясь жевать. Слышался только клац зубов, громкое причмокивание — и пёс снова с жадностью смотрел на руку железнодорожника. Казалось, что собака может есть без конца.

— Пора и честь знать! — наконец решил Матвей Егорович и, погладив собаку, решительно зашагал домой.

Но пёс не отставал от него. Теперь он бежал рядом, и даже его походка как-то изменилась. Весь его вид как бы говорил: «Смотрите! У меня есть хозяин!»

Матвей Егорович жил далеко от вокзала, километра за два, и всю дорогу пёс уверенно шёл за ним. Когда они подошли к дому, пёс хотел войти на лестницу, но старик строго прикрикнул на собаку, и она осталась во дворе. Каково же было удивление Матвея Егоровича, когда утром, уходя на работу, он вдруг увидел своего знакомого, вылезавшего из-под крыльца. «Не ушёл!» — не то рассердился, не то обрадовался Матвей Егорович. Он жил совсем одиноко, и эта приبلудившаяся собака чем-то взволновала его. «Надо тебя покормить», — решил он, и, вернувшись домой, захватил остатки вчерашней колбасы.

На вокзал железнодорожник и пёс шли вместе. Собака по временам отбегала в сторону, но сейчас же стремглав догоняла своего нового хозяина и опять бежала рядом.

— Пёс ты, может быть, и хороший, — сказал Матвей Егорович, — а вот вид у тебя, прямо скажем, гнусный!

На перроне, увидев, что его хозяин уезжает, пёс заметался и заскулил, но строгий окрик заставил его остаться на месте. Когда вечером поезд подошёл к станции, пёс радостно бросился старику навстречу.

— Приبلудный, ты здесь! — удивился старик, и они опять пошли домой вместе.

Так продолжалось недели три. Приبلудный ночевал под крыльцом, а по утрам провожал хозяина на вокзал. Вечером он всегда встречал поезд, на котором возвращался Матвей Егорович, и, радостно лая, кидался к хозяину, когда он выходил из вагона.

Взять домой такую неказистую собаку старик стеснялся. Эта привязанность к бездомному псу порой тяготила его, и когда он неожиданно получил путёвку в санаторий, то решил, что так даже будет и лучше: за время его отсутствия пёс отвыкнет, а может быть, и найдёт себе нового хозяина. Но когда наступил день отъезда и ничего не подозревавший пёс остался один стоять на перроне, провожая уходящий состав, Матвею Егоровичу стало не по себе. Он представил, как осиротевший Приبلудный будет ждать его вечером и, не дождавшись, голодный, поплетётся куда глаза глядят. «Эх, гадко получилось... — мучился старик. — Ну, да ведь всё равно меня бы с ним в санаторий не пустили!» — утешал он себя.



Приехав на место, Матвей Егорович первое время вспоминал Приблудного, а потом забыл.

Пробыл Матвей Егорович в санатории около месяца и начал собираться домой, в Пятигорск. Домой ехать почему хорошо? — знаешь, что тебя ждут, будут встречать, а Матвея Егоровича, старичка, никто не ждал, ведь он был бобылём!

Подходит поезд к Пятигорску; тут встречи, объятия кругом, а Матвей Егорович сторонкой со своим чемоданчиком людей обходит. И вдруг кто-то на него с размаху кидается! Старик чуть чемодан из рук не уронил. Глядит — а это Приблудный! Тощий, грязный, но столько в нём радости, что старик даже прослезился.

— Ах ты, голубчик мой, не забыл меня, старика, — бормотал он, лаская собаку. — Эх, поди, настрадался тут один!

С этого дня судьба Приблудного была решена, и, возможно, он в первый раз в своей жизни спал в комнате. Сослуживцы рассказали Матвею Егоровичу, что весь его отпуск горемычный пёс каждый вечер встречал поезда, несмело шныряя по перрону.

Старик крепко привязался к собаке, и, надо сказать, что Приблудный действительно был собакой, редкой по смыслёности. В комнате он всегда лежал на своём коврикe, никуда не лез, ничего не трогал, а своего хозяина понимал с полуслова.

— Поддай-ка мне, старина, шлёпанцы, — говорил Матвей Егорович, и Приблудный приносил ему туфли. — А ну, марш за газетой, — говорил старик, подавая собаке монету, и пёс через несколько минут возвращался с газетой в зубах.

— У меня пёс особенный, — говаривал Матвей Егорович. — Обычно люди себе собаку выбирают, а мой — хозяина себе выбрал.

Прошёл год, и Приблудный преобразился. Шерсть на нём стала гладкой, густой, походка — уверенной, взгляд — весёлым. С каким достоинством шёл он теперь рядом с хозяином! После голодной бездомной жизни он был по-настоящему счастлив.

Однажды, в очередном рейсе, Матвей Егорович почувствовал себя дурно и, доставленный в больницу, умер. Комнату его заняли, и собака опять стала бездомной.

Случилось так, что год спустя, осенним вечером, я проезжал через Пятигорск. Было холодно.

Выходить не хотелось. Я стоял у окна. В завесе дождя светились фонари. Поезд плавно, без толчка взял с места, и платформа стала медленно уходить вдаль. Вот проплыло здание вокзала, большая цветочная клумба с южкой посередине, какая-то одинокая фигура под зонтиком, и вдруг я увидел в конце перрона худую белёсую собаку. Она бежала вдоль поезда, напряжённо всматриваясь в окна вагонов. Это мог быть только Приблудный, столько в его взгляде было тоски и отчаяния... Он всё ещё ждал своего хозяина! И когда в тумане скрылся окутанный облаками Машук, я ещё долго смотрел в ту сторону, где осталась опустевшая платформа с одиноко стоящей на ней собакой.

Станислав Тимофеевич Романовский

Мальчик и две собаки

У Серёжи было две собаки — Анчар и Копейка. Анчар был чёрный, крупный волкодав, и за красоту его знали все жители городка, в котором жил Серёжа с родителями. А Копейка был маленький, седой и старый, и его мало кто знал.

Однажды по старости лет Копейка принял страхового агента Ивана Ивановича Веретенникова за разбойника и вцепился ему в грудь. А когда Копейка понял, что обознался, что перед ним Иван Иванович Веретенников, добрый знакомый, много раз угощавший собаку колбасой, сконфузился, спрятался в поленнице дров и оттуда слушал грустный голос страхового агента:

— Да... Стареет Копейка... А может, и не стареет... Вот я и думаю, как с ним сейчас поступить? Подавать на его хозяев в суд или не надо?

— Не надо-оо-ооо! — прошептал Серёжа.

А вслед за ним высказались и его родители. Сперва отец:

— Не надо бы... Потом мать:

— Простите вы Копейку, Иван Иванович, пожалуйста. Жить-то ему осталось... А вместо порванной рубашки мы вам купим новую, из чистой шерсти.

— Так подавать в суд или не подавать? — оглядывая собеседников, вопрошал Иван Иванович Веретенников. — Что-то я никак понять не могу: надо или не надо?

«Не надо-оо-ооо», — тоскливо зевнул огромный Анчар, и пасть его блеснула красным огнём, на что страховой агент согласился:

— Не будем, не будем! Раз не надо, значит, не надо. Однако застраховать имущество от пожара — надо-оо-ооо.

Иван Иванович Веретенников торжествующе обвёл рукой дом, двор и надворные постройки.

И родители Серёжи впервые застраховали имущество от пожара — заплатили деньги страховому агенту, чтобы на тот случай, если случится пожар и сгорят ценные вещи, а то и дом сгорит, государство выплатило бы убытки Серёжиной семье.

Иван Иванович ушёл, придерживая на груди порванную рубашку. Как только он ушёл, из поленницы вылез Копейка и чихнул от яркого солнца.

— Будь здоров, Копейка! — сказал Серёжа. А отец проворчал:

— На пенсию тебе пора. На своих кидаться начал.

— Что дальше-то будет?.. — вздохнула мать.

А дальше Серёжа стал ждать пожара. Пожар обязательно должен случиться, раз деньги за него заплачены, тем более что дни стояли жаркие, и из Большого бора наносило запахи горячей смолы — живицы и нежной ягоды земляники.

...Дни остыли. Теперь из Большого бора пахло хвоей и грибами, а по утрам холодной росой. И Серёжа понял, что никакого пожара ждать не надо, даже если за него деньги плачены...

Тихие стояли дни, погожие, грибные, и родители ушли в Большой бор за грибами, а Серёжу оставили домовничать с двумя собаками — с чёрным Анчаром и седым Копейкой.

Перед дорогой родители наказали Анчару, который, как видимо, всё понимал:

— Береги Серёжу пуще глаза!

Серёжа походил по дому, полазал по крыше, покормил собак и сам поел не единожды. А ближе к вечеру с Анчаром и Копейкой пошёл встречать родителей.

Только собаки вбежали в Большой бор, как деревья — красные сосны — разомкнулись и замкнулись за ними, словно медные ворота.

Пусть ли ворота Серёжу?

Может, таких-то маленьких одних не пускают в боры? Рано им ещё по лесам да по борам бегать?

С опаской вошёл Серёжа в Большой бор и услышал, как здесь пахнет самоварными шишками, хвоей и папоротниками и раскатисто лают собаки. Анчар басом. А Копейка... Не поймёшь, как лает Копейка: не то повизгивает, не то покашливает.

— Эх ты, Копейка! — сказал Серёжа. — Лаять совсем разучился.

Собаки бежали, внюхиваясь в землю, толсто устланную хвоей, отыскивали следы Серёжиных родителей, — впереди Анчар, за ним Копейка.

А за Копейкой поспевал Серёжа. Они бежали без отдыха много времени. Сколько, я сказать затрудняюсь, скажу только, что бежали они до тех пор, пока не пошёл дождь.

Первое время он шелестел там, где-то наверху, и задерживался в ветвях, а потом разом обрушился сюда и до нитки промочил всех троих — Серёжу, Анчара и Копейку.

Мокрый, Копейка стал совсем маленьким. И Серёжа словно уменьшился в размерах. А Анчар каким был огромным, таким и остался. Только шерсть на нём блестела и искрилась.

Собаки, не сговариваясь, легли под сосной, где сухо. Серёжа всё ждал, что они побегут домой, в город. А собаки, которых дождь сбил со следу, смотрели на хозяина и ждали, куда он пойдёт.

Куда он, туда и они.

— Папа-ааа! Мама-ааа! — что было сил закричал Серёжа. Эхо заметалось по лесу: туда-сюда, туда-сюда...

И собаки заворочали головами вслед за эхом: туда-сюда, туда-сюда...

Эхо ответило, а родители нет.

Где они теперь, родители-то?

Дома, конечно.

А дом где? Может быть, там?

Пошёл Серёжа на просвет между соснами, а за ним, как за хозяином, пошли собаки.

Все трое вышли не к дому, а к лесному озеру. Вода в озере не шелохнётся, и цвет у неё зелёный и смоляной. Берега зыбкие, и к самой воде не подойти. А подойти охота, чтобы утолить жажду. Ещё как охота! Посмотреть, что там в воде делается. Берега сплетены из мохнатых, зелёных, золотых, а то и голубых трав. И куда ни глянь — рассыпаны по берегам белые, как стеклянные, ягоды. Пошёл Серёжа по ягоды — берег закачался, заходил, и Серёжины следы наполнились студёной водой, и ноги у мальчугана свело от холода.

Заплакал Серёжа, еле-еле выбрался на твёрдую землю и всё-таки успел унести в горсти несколько тяжёлых, как камешки, ягод.

Что за ягоды такие? Клюква неспелая или какие другие ягоды, неизвестные человеку.

С кислинкой, болотом пахнут, и пить от них не так хочется.

На ходу съел он все ягоды до единой и обнаружил над головой между деревьями большие мигающие звёзды.

Ночь, а он с собаками всё по лесу гуляет! Сколько можно?

Куда теперь-то идти? В какую такую сторону? Или никуда?

Никуда так никуда...

В темноте все трое долго шли вдоль упавшей сосны. Длинно-иинная попалась сосна! Начали с вершины и, пока дошли до корня-выворотня, устали — сил нет.

Яма под корнем-выворотнем, а в ней, как под крышей, много скопилось сухой хвои.

Вот тут-то и самое место для ночлега.

Серёжа лёг на хвою и сразу заснул. Спал он и сквозь сон слышал, что собаки лежат рядом, прижимаются к нему, греют его. Анчар — справа, а Копейка — слева, ближе к сердцу.

Проснулся Серёжа от холода и увидел, что лежит он между собаками. И все трое побелены инеем.

Заморозок нагрязнул!

Беда...

Растолкал Серёжа собак, побегал, согреваясь, сел отдышаться на сосну.

Пришел к нему Копейка, в зубах принёс большую задущенную мышь: ешь, мол, хозяин, для тебя поймал.

— Что ты! Что ты! — замахал руками Серёжа. — Мы мышей не едим...

Копейка положил мышь к ногам хозяина и лёг в стороне рядом с Анчаром.

Сучок хрустнул. Не иначе, кто-то идёт. Серёжа повёл взглядом вдоль сосны — и замер: медведь идёт!

Медведь на том конце сосны, а Серёжа на этом. Медведь на вершине, а мальчик на комле.

Перелез медведь через сосну и в чашу. А за ним второй, поменьше. И тоже через сосну, и тоже в чашу.

Потом третий. Четвёртый. Пятый. Шестой. Седьмой...

И все через сосну переступают.

Строем идут. След в след.

Бояться надо, а на Серёжу смех напал. Последний, замыкающий медведь ступил на сосну, а Серёжа не удержался и сучком постучал о сучок. Громко получилось!

Замыкающий вздрогнул, но не обернулся и за остальными в чашу.

Больше Серёжа их не видел.

Тишина.

Собаки молчали, а когда медведей след простыл, затыкал Копейка, а вслед за ним загудел Анчар густым басом: дескать, я волкодав, а это — медведи, не по моей специальности.

А как дальше жить?

Попробовал Серёжа мороженых грибов, а душа их не принимает. Чего-нибудь бы горячего. Щей, например. Или каши. Или ухи из свежих окуней.

Каких только кушаний нет на свете!

Не перечеть!

Думать о них — голова закружится. А не думать нельзя.

Костёр бы развести, погреться, да спичек нет. Лёг Серёжа под корнем-выворотнем, а собаки, согревая его, легли по обе стороны.

Потом Копейка лаять начал.

Лает и лает сиплым баском. Откуда у него такой басок появился? Раньше не было. На кого лает-то? На Анчара.

Наскакивает на него, прогоняет из ямы, проходу не даёт. «Иди из леса в город, зови людей. А то замёрзнет наш хозяин без тепла, без еды».

«А сам почему не идёшь?» — мотает головой Анчар. «Ты — ходкий, молодой, быстро обернёшься». «Если на хозяина кто нападёт?..» «Не беспокойся. Не струсим».

Анчар поворчал-поворчал и, оглядываясь, побежал звать людей. А Копейка, чтобы Серёже теплее было, лёг на него и стал лизать мальчика в лицо.

Забылся мальчуган, заснул.

И заскользили во сне перед ним Белые Лебеди, каких он прежде никогда не видал, полетели по воздуху, да всё мимо, мимо...

«Куда же вы?»

«На родину».

«А здесь вам не родина?»

«И здесь тоже родина. Да мы не любим на одном месте сидеть».

«Летать любите?» «Любим».

«Возьмите меня с собой!»



«Возьмём когда-нибудь». «Чего сейчас не берёте?» «Ты же не один».

Скользят мимо лица Белые Лебеди, тугие и лёгкие, и обдают Серёжу ветром, и от радости или от лютого холода сжимается у мальчугана сердце.

Да это не лебеди, а снежинки залетают под корень-выворотень, ложатся на Копейку и во сне щекочут лицо Серёжи...

Залаял Копейка — спасатели идут: Серёжины родители, страховой агент Иван Иванович Веретенников и волкодав Анчар.

Серёжа проснулся, сел на хвойной подстилке, заплакал и сказал:

— А Анчарко от меня убежал...

Мать взяла Серёжу на руки, обняла, поцеловала.

— Зёрнышко ты моё! — сказала она, как пропела. — Нашёлся! А мы с отцом не знали, что и думать. Анчар нас к тебе привёл. Силой в лес притащил. Вот он от радости прыгает!

— Это его Копейка к вам послал, — вытирая слёзы, говорил Серёжа. — Если бы не Копейка-аа-

ааа...

До дому добрались благополучно. Серёжу несли на руках по очереди: то отец, то мать, то Иван Иванович Веретенников, который говорил:

— Лёгкий ты, Серёжа. Я в твои годы потяжелее был.

— Какие его годы! — обижалась мать. — Шесть лет. Седьмой. Будущей осенью в школу пойдёт... Что мы его, не кормим, что ли?

И добавляла осторожно:

— И были ли вы тяжелее в это время или нет, Иван Иванович, никто не знает.

— Был! — уверял страховой агент Иван Иванович Веретенников. — Помню: был!

— Но справки-то у вас нет, какого вы были веса, — вставлял слово Серёжин отец.

— Справки нет, — соглашался Иван Иванович, косясь на Анчара. — Но точно помню: был тяжелее!

Принесли Серёжу домой, а дома — жара, будто никакого заморозка со снегом не было.

Сели обедать, а после обеда пили чай с малиновым вареньем.

— Возвратная жара, — вытирая лоб носовым платком, говорил страховой агент. — По такой жаре самые пожары. Одно неосторожное движение — и строение, простите, в полном отсутствии. Как хорошо, что я вам посоветовал застраховать имущество от пожара! Не без помощи Копейкина, между прочим...

Серёжа, которого было потянуло в сон, встрепенулся:

— А Копейкин где?

Все вышли во двор искать Копейку. А он на солнышке греется! Серёжа обнял его и удивился:

— На улице жара, а ты дрожишь, Копейка! Отчего это?

— От старости, — грустно сказал страховой агент Иван Иванович Веретенников. — Старики и при солнышке зябнут...

С тех пор прошло три года.

Все герои этого рассказа живы-здоровы. Серёжа учится в третьем классе и вместе с родителями ходит в Большой бор по грибы и по ягоды. Но лесное озеро с зелёной и смоляной водой и со стеклянными ягодами по берегам они ни разу не встретили.

Анчар стал ещё более чёрным и упитанным — ростом с небольшого телёнка. Цену себе он знает, ходит важный и лает редко — в силу крайней необходимости. Зачем зря напрягать голосовые связки?

А у Копейки выросли бакенбарды. Он поседел окончательно, даже пожелтел и видеть и слышать стал худо. Но знакомых отличает от незнакомых.

Правда, страхового агента Ивана Ивановича Веретенникова он по-прежнему путает с кем-то другим и лает на него погасшим баском.

Иван Иванович не обижается и говорит поучительным голосом:

— Ничего! Ничего! Лай, Копейка, лай! Проминайся. Живи. Присутствуй. Жить-то как хорошо, а? Лай, голубчик, лай.

Продувай лёгкие. Соблюдай спортивную форму. Бери колбасу. Угощайся! Да не стесняйся ты, пожалуйста. Нашёл кого стесняться — старого друга! Дружба чем дольше, тем крепче. Копейка узнаёт его по голосу и конфузится...

Владимир Александрович Харьюзов

Гром

Уходя в магазин, Анна Петровна наложила полную тарелку румяных и поджаренных оладий и уже с порога крикнула сыну:

— Андрюша, оладушки на столе, сметана в холодильнике. Ешь, пока горячие, а я пошла за мясом к обеду.

Годовалый Гром проводил хозяйку до дверей и хотел было уже лечь на своё место в углу прихожей, но вдруг раздумал. Дальнейшие его действия имели последствия, которые были знаменательны для него на всю жизнь.

Андрей так углубился в свои занятия, что не выходил из комнаты до прихода Анны Петровны. На её звонок он открыл ей дверь и взял из рук авоську с продуктами.

— Ну, понравились тебе оладьи? — спросила мать, увидев на столе пустую тарелку, в которой оставляла завтрак для сына.

Студент улыбнулся и сказал, что он ещё не успел позавтракать. Мама поняла улыбку сына и слова как шутку, но он серьёзно повторил, что не ел оладушек, и, потрепав по спине собаку, пошутил:

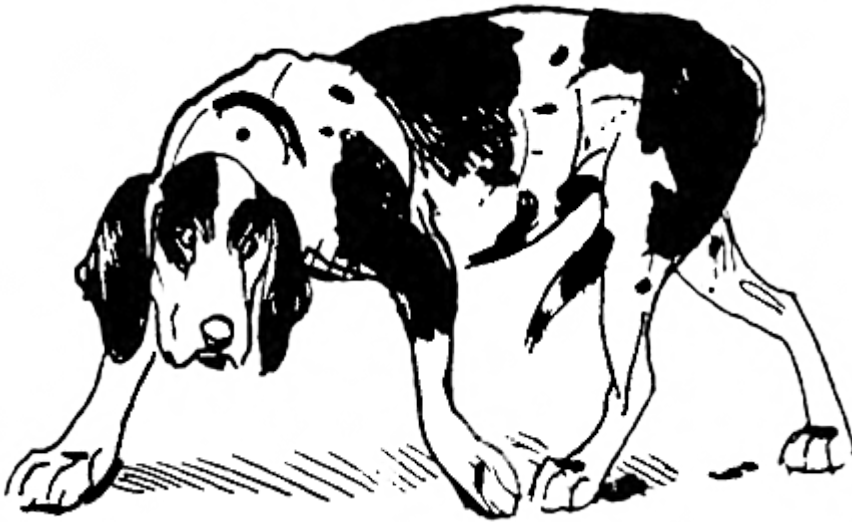
— Может быть, Гром съел за меня?

Анна Петровна подошла к столу, взяла пустую тарелку из-под оладий:

— Громушка, ты не знаешь, кто это съел оладьи? — весело, с притворной серьёзностью спросила она, будучи уверена, что оладьи всё-таки съел сын.

И тут случилось неожиданное: живые, озорные глаза собаки вдруг погасли, уши опустились, хвост трусливо повис и Гром лёг на брюхо к самым ногам хозяйки, виновато ожидая наказания. Да, он, как опытный воришка, неслышно забрался на стул, неслышно сдвинул алюминиевую крышку, которой была накрыта тарелка с оладьями, съел их, чисто вылизал посуду и так же неслышно слез со стула. Поняв всё, мать и сын рассмеялись, но Андрей для порядка строгим голосом спросил обвиняемого:

— Так кто съел оладьи? Говори!



Гром почти по-пластунски поплёлся в угол на свой коврик.

С тех пор хозяева никогда не кричали на Грома, а если он не слушался с первого слова, то его тихо, иногда даже на ушко спрашивали:

— А кто съел оладьи?

И собака становилась послушной.

Борис Тарбаев

Бурка

Жил со мной на Севере весёлый друг, никогда не жаловался, не хныкал. Только одним страдал недостатком: не умел писать писем. Два года мы были с ним в разлуке, и за два года хоть бы весточку прислал. Когда я вернулся на Север, то, конечно, первым делом вспомнил о нём.

«Скучновато без него будет ходить по тундре», — подумал я и попросил лётчика, который привёз нас на место, сделать в последнем рейсе небольшой крюк — двадцать километров в сторону — за моим другом. Лётчик удивлённо посмотрел на меня, хотел что-то возразить, но я спокойно объяснил, что друг привык летать на самолётах... и потом, до него совсем недалеко — двадцать километров в сторону. Лётчик выслушал меня и согласился. Вечером друг прибыл.

— Пассажир чувствовал себя хорошо? — спросил я лётчика.

Он улыбнулся.

— Кажется, сначала у него немного кружилась голова, но потом всё обошлось.

Я заглянул в самолёт и увидел своего друга — он улыбался во всю пасть.

«Гав! Гав!» — сказал он мне. Это означало: «Я очень рад!»

— Добро пожаловать, Бурка!

Пёс выпрыгнул на траву и лизнул мне руку — не в пример другим собакам, которые при встрече от избытка радости носятся вокруг немислимим галопом. Мы посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, какие дела сейчас важнее всего: нам следовало идти в лагерь и закусьить.

В палатке я дал Бурке рыбу, он съел её, как подобает воспитанному псу, всю без остатка и облизнулся. Последнее означало, что одной рыбы ему мало и он желает получить ещё одну. Но у меня была лишь одна рыбина, я сконфузился и предложил ему взамен миску фасолевой похлёбки с мясными консервами. Он деловито понюхал суп и поступил с ним так же, как и с рыбой, — съел весь без остатка. После ужина я показал ему лагерь: спальную палатку, палатку, где мы делали чертежи, и, наконец, кухню. Палатка-кухня понравилась ему больше всего. Он тщательно обнюхал её снаружи, заглянул внутрь и дал мне понять, что ему лучше всего остаться на ночь здесь, возле дверей, на всякий случай... Хорошо, когда имеется верный друг — не скучно, а главное, за продукты спокойно.

На следующее утро меня разбудили гуси. За ближайшим холмом было озеро, и тамошние гуси время от времени устраивали соревнование, кто громче крикнет. Голоса у гусей были звонкие — недаром их горластые предки Рим спасли, только порядка у них не было — кричали они все вместе, получалось сплошное: «Га-га-га...» Оказалось, что Бурка проснулся раньше, чем я, и уже ожидал меня у дверей палатки.

«Пойдём, — сказал он мне глазами, — я принёс такую штуку, какой ты никогда не видел».

Он повёл меня за палатку. Там лежал небольшой тюлень, вернее, не тюлень, а две трети тюленя. Куда девалось остальное, я не знал; может, съел Бурка или кто-нибудь другой... Бурка тихонько взвизгнул и лизнул тушку, предлагая мне сделать то же самое, но я отказался.

— Видишь ли, — объяснил я Бурке, — этот тюлень не целый, и я не знаю, кто съел его третью часть, — может быть тот, кто её ел, и зубов никогда не чистит, и потом, все дохлые тюлени — дрянь, плохо пахнут.

Бурка отчаянно закрутил хвостом:

«Ничего подобного, хороший тюлень!»

Мы с ним поспорили: каждый остался при своём мнении. После чего я заткнул себе нос, взял железный крючок и оттащил тюленя подальше от лагеря.

— Давай лучше пойдём на охоту, — предложил я Бурке, — что-нибудь повкуснее добудем.

В знак согласия Бурка свернул кольцом свой пушистый хвост и побежал в тундру. Там он стал рыскать среди кочек и кустов карликовой берёзки, совал морду в мох и фыркал.

«Очень много было куропаток, — то и дело сигналил его хвост, — да вот куда-то все подевались».

— Надо найти! — требовал я.

«Устал, — обиделся Бурка, — я не молодой. Попробуй столько побегать с утра». И лёг возле меня, высунув язык.

Сел и я на кочку. И тут привязался к нам один крикун. Спина у крикуна сизая, брюхо жёлто-белое в пестринах, лапы жёлтые, клюв крючком. Мы его сразу узнали, это был сокол-дербник; прилетел невесть откуда и кружился над нами.

«Ки! Ки!..» — кричал.

«Гав, — ответил ему Бурка. — Проваливай, а то застрелим».

Мы, конечно, крикуна стрелять не стали: пусть кричит на здоровье, если нравится. Отдохнул Бурка и стал по сторонам носом водить. Нос у него чёрный, влажный, всякие запахи ловит — чудесный нос.

Наклонил Бурка голову набок и хитро так взглянул на меня.

«Простофили мы с тобой! Ведь куропатки-то в ивняке сидят».

Стали мы к тому ивняку подкрадываться: Бурка впереди, я сзади.

Бурка сделает десять шагов, повернёт голову и говорит глазами:

«Сидят, на одном месте сидят — жирные...»

Совсем близко подошли мы к ивняку, остановился я и приготовился стрелять. Бурка струной вытянулся, нос и глаза на куропаток нацелил. Легавые собаки, которые медали получают на выставках, стойку на дичь делают. Какой-нибудь сеттер или пойнтер, перед тем как куропатку из куста выпугнуть, поднимает переднюю ногу. Бурка на выставках не был, потом никакой он не сеттер и не пойнтер, а самая обыкновенная лайка. Переднюю ногу он не поднимает, он поднимает ту, которую удобнее.

«Гвах! Гвах! Охо-хо-хо! — захохотали куропатки, взлетая. — Видели мы вас, видели! Теперь снова поищите нас!..»

Бах! — выпалил я из одного ствола. Бах! — из второго.

«Ай! Ай!» — завизжал Бурка.

«Ох! Ох! Подальше от вас, подальше!» — орали куропатки, что есть мочи размахивая крыльями.

Бурка рыскал по кустам, искал добычу, но ничего не нашёл. Подбежал ко мне, посмотрел в глаза:

«Подкрадывались?»

— Подкрадывались. «Стреляли?»

— Стреляли.

«А где же добыча?» Развёл я руками:

— Промазал. Тут уж ничего не поделаешь, пойдём в лагерь суп с говяжьей тушёнкой есть.



Бурка отвернулся и повесил хвост поленом: «И чего это мы пошли за куропатками, если ты стрелять не умеешь, был же тюлень...»

— Да ну тебя, ворчуна. Ты, видно, брат, стареешь, — сказал я ему.

Бурка, не поднимая хвоста, побежал вперёд и ни разу не оглянулся.

С тех пор мы стали дуться друг на друга.

Спустя неделю оленеводы подарили нам молодого песца. Был он как котёнок и смотрел на всех печальными глазками, уговаривал: «Вы меня не трогайте, а я уж вас никогда не трону».

Сидел щенок на цепочке возле палатки. К нему подошёл Бурка и показал зубы.

— Что, разве не нравится зверушка? — спросил я. Бурка холодно взглянул на меня, наморщил нос: «Мерзкий песец, и пахнет от него мерзко. Все песцы мерзкие».

— Ладно, — сказал я, — любить не люби, и трогать не трогай — он маленький.

Бурка на мои слова и ухом не повёл. Посмотрел песец на Бурку, и растаяло у него сердечко: родню он ему напомнил — у родни ведь тоже четыре лапы и пушистый хвост. Тихо подкрался малыш к Буркиному хвосту и робко дёрнул. Пса как будто электрическим током пронзило — затрясся весь. Гневно взглянул на меня:

«Вот до чего я дожил, уж и песец стал меня оскорблять. И всё по вашей милости...»

Встал он и пошёл прочь; хвост по земле волочится. Я-то знал, о чём он в этот момент думал: «Ненавижу я этих песцов! Ненавижу!»

Совсем испортились наши отношения с Буркой. А тут ещё приключилась история с гусем...

Жил в нашем лагере дикий гусь, мы его поймали птенцом. Когда он подрос, придумали ему имя: Петька. Это был очень важный и умный гусь. По утрам он степенно провожал нас

умываться и тоже барахтался в воде; днём ходил вместе с поваром собирать ягоды. Правда, ягоды собирал не в лукошко: он рвал их клювом — и проглатывал. Увидел Петька Бурку и удивился. Шею вытянул, насторожился:

«Га! Га! Откуда взялся жёлтый пёс?»

— На самолёте прилетел, — объяснил я Петьке, — очень прошу тебя любить его и жаловать.

«Жёлтого пса — никогда!» — прогоготал гусь и удалился в палатку.

Бурка конфузливо завилял хвостом: «Очень важная персона этот гусь, не подступишься к нему».

Я думал, что пройдёт день-другой и они подружатся, да не тут-то было: Петька оказался с характером. Бурку в палатке он не терпел. Сунется, бывало, Бурка в палатку, а ему сразу на пороге: «Прочь, невежа!» Проглотит пёс обиду и уйдет.

Однажды всё-таки не стерпело Буркино сердце. Вошёл он в палатку, и то ли у него дело было настолько важное, что пропустил он мимо ушей предупреждение, то ли просто не слышал окрика, только перешёл гусь от слов к делу: клюнул Бурку в нос.

«У-у-у!.. — заплакал Бурка и рассердился: — Гам! Съем я тебя, задиру!»

Гусь даже на цыпочки поднялся: «Что?.. Вы слышали?!» Подхватился Бурка — и ко мне: «Либо этот гусь, либо я — выбирай». Почесал я затылок:

— Придётся, брат, терпеть. Сам знаешь, какие они, гуси... Понурился Бурка. По морде видно, что сильно обиделся.

С этого дня стал он спать за палаткой даже в сильный дождь и за завтраком не просил у меня добавки.

Северное лето быстро прошло, и наступила осень. По ночам печальные песни запел ветер: «Скучно мне, очень скучно. Несу я холодные облака, сыплю унылый дождик. Слушайте меня те, кто в каменных домах, слушайте те, кто в деревянных, и вы, которые в палатках, тоже слушайте — всем вам скоро станет скучно...»

Послушал я ветер и в самом деле заскучал: пора уезжать в тёплые края. У геологов сборы недолги — запаковали во вьючные сумы снаряжение, сложили палатки — и завьючивай лошадей!

В один прекрасный день погрузились мы и поехали. Путь длинный. Едем день, едем два, уж и стойбище близко, где живёт Буркин хозяин: через гору перевалить да в низину спуститься, потом опять на гору и опять в низину, шесть ручьёв перейти вброд и две реки... Недалеко стойбище, да ночь ещё ближе, сзади шагает, вот-вот обгонит. Остановился наш караван, и давай мы между собой совет держать: разбивать лагерь или дальше идти. Посмотрели по сторонам: кругом болото, сыр да гниль, ни дров для костра, ни травы для лошадей — гиблое место.

— Э-э, ничего... — заговорил я. — Вчера была лунная ночь, будет и сегодня. При луне иной раз светлей, чем днём; дойдём до стойбища и ночью — по оленьей дороге.

Стемнело, и вдруг надвинулась с севера туча, снег полетел, ветер завыл, как голодная собака.

Такая пурга началась, что словами не описать. С такой погодой шутки плохи — в два счёта пропасть можно.

— Ну, Бурка, — спросил я пса, — как дорогу будем искать?

Отряхнулся Бурка, презрительно фыркнул: дескать, никчёмный вы народ, пустяка сделать не можете — и повёл караван. Долго мы шли и сильно продрогли. Самое время отдохнуть, горячего чая выпить, да куда там: встала у нас на пути река, глубина сажённая.

— Что скажешь, верный друг Бурка? Оглянулся я — нет Бурки.

— Бурка! Бурка!..

«У-у-у...» — воет ветер. Видно, бросил нас Бурка в отместку за все обиды.

Совсем некстати теперь сводить Бурке счёты, плохую погоду выбрал.

Что мы делать будем?..

Стал я думать, куда нам податься, и, пока думал, так продрог, до самого сердца холод добрался. И вдруг сквозь свист ветра голос:

— Э-э-эй-эй!

Прислушался, и опять с порывом ветра:

— Э-э-эй!

Толкнул меня кто-то сзади, я оглянулся: Бурка, мокрый весь, только что реку переплыл.

— Что, старина, наверное, лодку привезли?..

В темноте Буркиной морды не было видно, но знал я, что он мне по-своему, по-собачьи, глазами говорил: «Пустяки всё! Через час в стойбище прибудем — там уж и похлёбку для нас из оленины варят. Я понюхал — слюнки потекли».

Приплыл с противоположной стороны человек на лодке. Людей перевёз, снаряжение перевёз, ну а лошади сами переплыли реку. Вскоре мы сидели в чуме и ели похлёбку из оленины.

Неделей позже расстались мы с Буркой. Сел я в самолёт, глянул в окно: стоит он рядом, хвостом машет. Высунулся я в дверцу и не очень громко, чтобы другие не слышали, спросил:

— Ты на меня не обижаешься? А? Мотнул Бурка головой:

«Да ну их, эти обиды».

— Ну, тогда до лета!

«Гав! Конечно, до лета. Не забудь прислать самолёт».

Михаил Павлович Коршунов

Последняя охота

Санин был у знакомого ветеринара, когда привели Ичу. Но привели её не к ветеринару, а туда,

в подвал — совершенно здоровую.

Санин побежал узнать — для чего привели совершенно здоровую собаку в подвал. Он увидел женщину, а на верёвке короткошёрстную легавую.

Женщина сказала, что её муж умер. Осталась собака. Она ей не нужна. Привела, чтобы здесь сделали то, что обычно делают с животными, которые хозяину больше не нужны.

Собака волновалась: запах верёвки — это особый запах.

Санин снял с неё верёвку. Не снял, а разрезал ножом, потому что узел затянулся. Верёвку Санин отдал женщине, а собаку увёл к себе домой.

Итак Ича стала его собакой.

Он не назначил ей места в комнате, решил — пусть выберет сама. Ича выбрала угол, где висело ружьё, охотничья сумка, патронташ и фляга.

Первые дни примолкала в своём углу, но стоило подойти Санину, как она вскакивала, суежилась, а потом клала ему в руки голову, задыхаясь от удовольствия, что он подошёл к ней.

Ича быстро усвоила его привычки. Догадывалась, когда он будет читать газету, курить папиросу, бриться. Не мешала ему в эти минуты.

Санин помнит, как приехал с Ичей в степь. Ича выпрыгнула из коляски мотоцикла и побежала. Потом остановилась, подняла голову, причуивая птицу верхним чутьём. Ноги поставлены прямо. Грудь широкая, но в меру. Спина мускулистая, упругая. Голова сухая, нетяжёлая. Хвост посажен высоко.

Сразу было видно, что Ича чистокровная полевая собака, но также было видно, что она уже не молодая.

Ича вернулась и начала покрикивать на Санина от нетерпения, пока он вытаскивал сумку, ружьё, патронташ, флягу с водой для себя и бидончик с водой для неё.

Дома Ича была вежливой, а на охоте сердилась, если он медлил, не спешил.

В первый же приезд в степь Санин настрелял из-под её стойки тридцать перепёлок, хотя перепёлка в тот день сидела сторожко, пугливо.

Ича вела поиск широким «челноком» без всяких заворотов внутрь. Находила подранков своих и чужих, которых не сумели найти другие собаки. Подавала стреляную птицу и никогда её при этом не мяла.

Иногда Санин плохо видел птицу. Тогда она подходила к ней с разных сторон, чтобы лучше показать. Даже на вспаханной земле или в картофельниках всё равно находила и поднимала.

При подводке к птице укоризненно взглядывала, если он наступал на что-нибудь хрупкое или цеплял ружьём кусты.

Санин едва поспевал за ней. Некогда было выкурить лишнюю папиросу, выпить воды.

И только дома Ича как бы признавалась, что совсем устала. И пока Санин выбирал у неё из шерсти клещей и репейники, тёплым уксусом промазывал крапивные ожоги, Ича засыпала.

Ича радовалась, когда Санин подходил к ней, а Санин радовался, что ему было к кому подойти.

После первой охоты Ича безошибочно угадывала, когда он собирался в степь: к прежним привычкам Санина добавила новые, для себя главные.

Санин не услышит звона будильника: трудно подняться в четыре утра после рабочей недели. Ича подходила к его кровати и «скрипела над ухом»: вздыхала, повизгивала. Будила. Санин просыпался и, смущённый, бежал к умывальнику.

А Ича «с песнями» выбегала во двор к сараю, где стоял мотоцикл.

Был случай... Санин встретил на охоте друзей. Они сидели в тени, отдыхали. Их собаки тоже сидели в тени, отдыхали. Ича недалеко от охотников сделала стойку.

— Что это она у тебя?

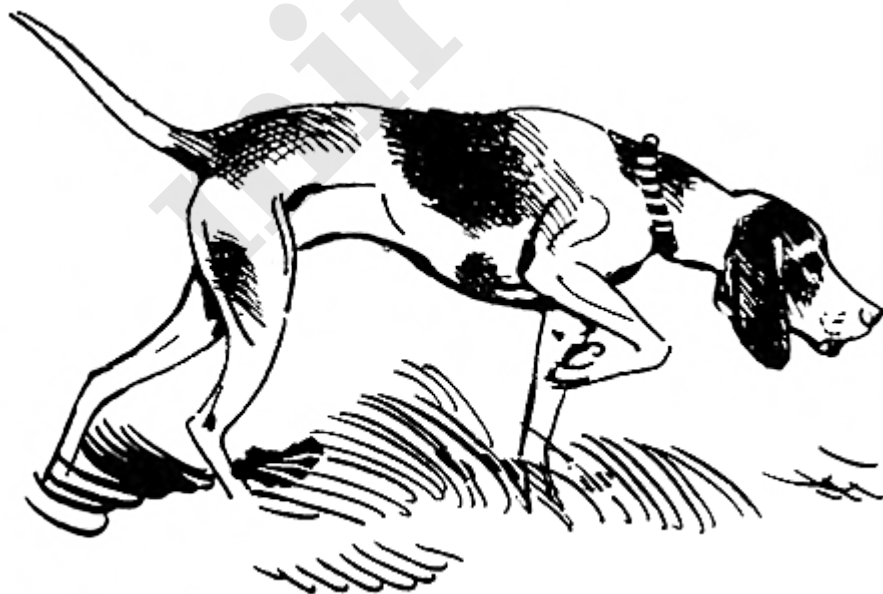
Санин позвал Ичу. Не двигается, стоит. Охотники сказали:

— Шалит барбос!

Ича подняла птицу на крыло, и Санин без промаха ударил.

Вскочили, заметались барбосы охотников. Ича решила над ними посмеяться. Прежде чем отдать перепёлку Санину, она сделала «карусель»: повертелась с перепёлкой в зубах перед барбосами.

Ича прекрасно разбиралась, какую птицу как прихватывать. Она знала, что вальдшнепы любят отсиживаться в садах, придорожных канавах или где-нибудь на опушке мелкого березняка. Бекасы — те любят болота и сырые луга. Умеют плавать и нырять. А летают очень хитро: делают быстрые и неожиданные повороты. Дупель — он больше бекаса и летает без всяких неожиданных поворотов. Сидеть любит, где посуше. Сожмётся, «западёт», так что его и не учуешь. А коростель — тот бегаёт.



Поднимешь его, он пролетит шагов двадцать — низко, медленно, с опущенными ногами — и снова побежит по земле.

Все друзья-охотники признали Ичу собакой выдающейся.

На полевых состязаниях Ича выиграла Санину ружьё. Набрала 95 баллов. Она получала дипломы и медали. Получила специальный приз за чутьё. А потом ей даже присудили звание лучшей собаки охотхозяйства при облисполкоме.

...Ичу укусила змея. Как он тогда испугался, сколько пережил!

Это произошло во время лёта серой куропатки. Змея укусила в ногу.

Санин быстро выдернул из петелек сумки шнурок и перетянул им ногу повыше укуса. Принёс Ичу к мотоциклу, положил в коляску и погнал мотоцикл домой.

Дома укушенное место протёр марганцовкой.

Ича улыбнулась ему: не надо беспокоиться, всё обойдётся. Она уже не выглядела такой усталой, какой обычно бывала к концу охоты.

Санин, поручив её соседям, побежал (он до сих пор не понимает, почему побежал, а не поехал на мотоцикле) в ту самую поликлинику, откуда, из подвала, когда-то забрал Ичу.

Он упросил ветеринара немедленно прийти и осмотреть собаку. Ича не молодая, у неё может случиться паралич.

Успокоился он только после того, когда ветеринар осмотрел Ичу и сказал, что сердце работает нормально, затруднений в дыхании нет, а значит, нет и оснований, что может наступить паралич.

Через несколько дней Ича была вне опасности. Действительно, всё обошлось.

Но Санин на охоту не ездил, чтобы дать Иче возможность отдохнуть, окрепнуть.

У Санина часто спрашивали — не продаст ли он Ичу. Предлагали большие деньги.

Санин отвечал, что он никогда Ичу не продаст. И что он вообще не имеет права её продавать, потому что он её и не покупал, денег за неё не платил — ни больших, ни маленьких. Он только снял с неё верёвку, а Ича — она сняла с него одиночество. Но этого он никому уже не говорил.

Одну зиму они часто охотились на зайцев. Ездили далеко. Холодно было, но они ездили.

Санин подранил зайца. Заяц ушёл. Ича ушла за ним вдогон. Санин испугался — не вернётся, замёрзнет. Снег очень глубокий. Тоже отправился по следу за Ичей и зайцем. Здесь вот Ича остановилась, отдыхала. Здесь вот заяц прыгал, след запутывал. Ича сделала круг, распутывала след. Нашла и опять вдогон.

Сильный заяц попался. Раненный, а идёт и идёт. Наверное, «листопадник» — осенью только родился.

Ича притащила зайца. Он был огромным, тяжёлым. Ича долго не могла отдышаться. Санин счистил с её головы сосульки и на лапах между пальцами. Ича дрожала от холода и никак не могла согреться.

Он снял с себя толстый свитер и натянул на Ичу.

В свитере она и приехала домой.

...Это было тоже зимой — Санин на привале забыл портсигар. Охотились они тогда не одни. С ними был охотник, который вместе с другими сказал когда-то на Ичу «шалит барбос».

Охотник был со своей собакой. Так что Иче приходилось работать в паре. А работать в паре Ича не любила, поэтому весь день была надутая, неразговорчивой.

Портсигар Санин положил на пенёк, а пенёк, пока они жгли костёр и закусывали, засыпало снегом.

Собрались и пошли. Санин о портсигаре забыл — не видно его. А Ича идёт и не идёт. Санин позвал её. Нет, не идёт. Хлопнул по спине рукавицей.

Ича ухватила его за рукавицу и потянула к пеньку. И только тогда он вспомнил о портсигаре.

Извинился перед ней и сказал, что никогда не ударит её даже в шутку рукавицей и на охоту не будет заставлять ходить в паре, если она этого не хочет.

От года к году совершалось неизбежное — Ича старела: укорачивалось чутьё, укорачивалось зрение, укорачивался слух.

Ича делала вид, что ничего не происходит. А Санин делал вид, что ничего не замечает.

Они обманывали друг друга. Но Санину это делать было легко, а Иче — всё труднее.

Теперь Ича, когда возвращалась с охоты, засыпала уже прямо в коляске мотоцикла. Однажды не услышала будильника. Санин её разбудил. Как она растерялась и Санин растерялся!

Ича тут же «с песнями» захотела выбежать во двор, споткнулась на лестнице и едва не упала. Но потом, во дворе, сделала «карусель», улыбнулась ему.

Санин улыбнулся в ответ — всё в порядке, Ича. Ведь это подвела нога, в которую когда-то укусила змея. Санин выкатывал из сарая мотоцикл и незаметно, вроде бы случайно, помогал Иче влезать в коляску.

Ему легче обманывать её, чем ей обманывать его. И он спешил всегда первым обмануть.

В степи он теперь больше отдыхал и курил, чем охотился.

Ича делала вид, что сердится на него, покрикивает. А Санин извинялся, убеждал её, что ещё неизвестно, что лучше — стрелять или не стрелять. Охота для него вообще никогда не бывала чем-то главным, и заниматься он ею начал особенно после того, когда остался один. Ему нужно было куда-нибудь уходить — и он уходил в степь.

...Пролетел жук — Ича не увидела. Прошелестела ящерица в траве — Ича не услышала. А потом и будильник совсем перестала слышать, и «скрипеть над ухом» перестала, и следы зайцев и лисиц видеть перестала, причуивать птицу.

Санин всё чаще подходил к Иче. И она была счастлива, что он к ней подходит. Теперь она уже не старалась его обмануть. И Санин тоже не старался её обмануть. Это было невозможно.

...Ича спускается с лестницы во двор. Идёт тихонько, лапы у неё путаются.

Санин ласково оглаживает её ладонью, говорит:

— Ничего, Ича, ничего.

Потом она останавливается около сарая и просто стоит. Ича и Санин никуда не едут. Оба просто стоят.

Ича кладёт ему в руки голову и молчит.

А каждую ночь он подходит к ней, укрывает чем-нибудь тёплым. Помогает перевернуться с боку на бок, массирует затёкшие лапы.

Ича не в силах сказать ему что-нибудь хорошее или даже просто открыть глаза. Как будто бы она пробежала в степи свои сорок — пятьдесят километров. Они ей теперь только снятся — и тогда она вдруг ночью потянет совсем щенячьим голосом, высоким, прерывистым: увидела степь, увидела всё то, что теперь не видит.

К Санину приходит знакомый ветеринар. И каждый раз Санин просит его сделать Иче укол витаминов или ещё чего-нибудь.

Ветеринар уколы делал. А потом сказал, что делать эти уколы бесполезно, что у собаки уже такая старость, которая её тяготит. И что собаку надо привезти на мотоцикле в поликлинику.

Санин сказал, что он не повезёт Ичу туда, в подвал.

— Это неизбежно, и оставлять собаку в таком положении нельзя, — ответил ветеринар. — Вы не можете этого не понимать.

Санин это понимал. Он не признался ветеринару, что пробовал проехать с Ичей по той улице, где поликлиника. Пробовал даже остановиться около здания поликлиники. И он увидел, что случилось с Ичей. Она всё помнила: запах верёвки — этот особый запах.

Санин сказал тогда Иче, что они здесь случайно. Ехали, остановились и поедут дальше. И они поехали дальше.

...У Ичи образовались пролежни. Теперь она почти не могла ночью самостоятельно переворачиваться. Вставала редко. Ела и пила лёжа.

У Санина с ветеринаром повторился разговор о поликлинике. И когда Санин опять сказал, что не повезёт Ичу, ветеринар ответил:

— Как хотите, но это жестокость.

...Санин выкатил из сарая мотоцикл. Помог Иче спуститься с лестницы и посадил её в коляску.

Он взял ружьё. В кармане у него лежал единственный патрон для единственного выстрела. Ича хотела сказать, что он забыл патронташ, сумку, флягу с водой и бидончик. Но у неё не было сил сказать.

Когда приехали в степь — Санин, Ича и мотоцикл долго стояли в степи.

Ича увидела всё то, что хотела увидеть. А Санин увидел всё то, чего не хотел сейчас увидеть.

И он не выдержал: достал из кармана патрон и выбросил его, хотя и понимал, что не должен

этого делать, что это опять жестокость. И что всё равно какое-то решение, словно последний выстрел, остаётся за ним.



Михаил Александрович Заборский

Страшная месть

Пёсика звали Тяпкой. Он был приземистый, криволапый, чёрный, с жёлтыми подпалинами. Лохматые уши торчали почти горизонтально, и казалось, владельцу стоило труда удерживать их в этом несколько необычном положении. Глаза у Тяпки были карие, насторожённые, однако с усмешечкой. Когда Тяпка находился в хорошем расположении духа или выпрашивал вкусный кусочек, он слегка повизгивал и скалил зубы. Хвостом же не вилял по той причине, что так и не сумел им обзавестись. На хвостом месте у него находилась всего-навсего небольшая припухлость.

Хозяином Тяпки была дружная и шумная ребячья компания, облюбовавшая для встреч этот затейливо растянувшийся двор, с разными будочками, сарайчиками и закоулочками. Мальчишки тщательно оберегали пса от сторонних посягательств и даже провели сбор средств на его регистрацию. Кормили Тяпку аккуратно в очередь. Иногда даже выделялся «общественный контроль», проверявший качество пищи.

Безоблачное существование Тяпки омрачали только рыжий боксёр Ральф и его владелец — грубый долговязый мотоциклист. Может быть, сам по себе, этот дядька и не вызывал Тяпкиного недоброжелательства, но в сочетании с машиной становился невыносим. Оглушительный треск, облака сизого дыма, запах, от которого хотелось болезненно чихать, — всё это окончательно выводило Тяпку из равновесия. Отношения Тяпки с мотоциклистом постепенно накалялись. Наверно, конфликт возник бы и много раньше, если бы не Ральф. Ральф являлся, так сказать, ограничителем Тяпкиных возможностей.

Причина заключалась в том, что однажды Тяпка был глубоко посрамлён этим собачьим аристократом. Когда Ральфа впервые вывели на двор, Тяпка, на правах старожилы, захлёбываясь лаем, кинулся к незнакомцу. Но Ральф даже не вздрогнул, он слегка присел, сделал короткий бросок и...

Тяпкина голова, вместе со знаменитыми ушами, словно провалилась в широкую пасть боксёра. Все ахнули. Только хозяин Ральфа зычно и оскорбительно захохотал:

— Фу! — крикнул он. — Брось! Помойкой пахнет!

И тогда Ральф брезгливо выплюнул Тяпкину голову. Хотя на ней не было заметно существенных повреждений, но что это оказалась за голова — обмусоленная, жалкая! Надо было видеть унижение Тяпки. Шатаясь из стороны в сторону, он затрусил неверной походкой в один из дальних тупичков двора, где и скрылся за большой железной бочкой. До самого вечера он пролежал там, часто вздрагивая и отказываясь от самых лакомых приношений.

Случай этот многократно обсуждался между ребятами. Общее мнение склонялось к тому, что Тяпка так, запросто, этого дела не оставит.

— Пёс из Черкизова взят, он ещё с этими ральфами рассчитается! — почему-то во множественном числе загадочным шёпотом говорил Колька — толстый мальчуган, с несколько растерянным выражением лица, что, впрочем, не мешало ему быть признанным верховодом компании. — Черкизовские, они всегда чего-нибудь да придумают... Дадут жизни!..

Но Тяпка больше недели ничем не отмечал себя. Заслышав тарактение мотоцикла или хриплый лай боксёра, он, понутив голову, немедля скрывался из глаз.

Был выходной день, и двор гудел от праздничного оживления. И старых и малых выманила наружу солнечная майская погода. Стучали кости домино. Приглушённо выбивались ковры. Хлопали двери. Над весёлой стаей мальчишек то и дело взмывал тёмный упругий мяч.

Вышел и хозяин Ральфа. Отопнув дверь дощатого сарайчика, он вывел оттуда выдавший виды мотоцикл и прислонил его к стене дома, против своего окна. Окно находилось на втором этаже. Из него высовывалась полусонная морда боксёра, лежавшего на мягком, стёганом тюфячке.

— В случае чего сигнал! — без улыбки подмигнул хозяин Ральфу и для убедительности похлопал рукой по лоснящемуся кожаному сиденью. — А то и выдрать недолго! И на экстерьер твой не посмотрю!

Несколько дворовых завсегдатаев подошли поближе поинтересоваться машиной.

— Не везёт с резиной, — ворчливо, ни к кому не обращаясь, сказал мотоциклист. — Горит! Прямо хоть рекламацию пиши. А задняя комера вовсе на ладан дышит!

Он с кислым лицом отошёл подальше в тень, где под развесистой кроной серебристого тополя происходило яростное забивание «козла».



И вдруг из ребячьей ватаги раздался чей-то звонкий голос:

— Глянь-ка! Тяпка вышел! К машине!

Совершенно верно, около мотоцикла неожиданно появился Тяпка. Он сосредоточенно обнюхал переднее колесо, но, видимо не обнаружив ничего примечательного, равнодушно опрыскал его, высоко задрав ногу.

Из окошка раздалось угрожающее рычание Ральфа. Однако хозяин, только что начавший новый кон, даже не оглянулся. И только ребята, забросив волейбол, сгруппировались кучкой, ожидая дальнейшего разворота событий.

С тем же бесстрастным видом Тяпка приступил к обследованию второго колеса. И вскоре наткнулся на нечто его заинтересовавшее. Через узкую щель, между ободом и сносившейся рубчатой покрышкой, вылез наружу кусок камеры, образовав небольшой коричневый желвачок.

Тяпка потёрся о желвачок щекой, словно что-то тщательно примеривая, и вдруг сделал судорожное движение челюстями. В этот же кратчайший миг оглушительный удар, словно выстрел зенитки, перекрыл все прочие звуки многоголосого двора.

Прервав игру, мотоциклист, будто ужаленный, выскочил из-за стола и бросился к машине. Оглашая двор хриплым басом астматика, в окошке бесновался Ральф в предчувствии жестокой расправы. Восторженно галдели ребята.

Впрочем, месть не показалась Тяпке достаточно полной. Он подбежал под самое окно и, яростно откидывая задними лапами песок и мелкие камушки, задрал морду и залился высоким лаем. Кончики его распластанных ушей торжественно подрагивали. Чего только, должно быть, не наговорил он в эти блаженные мгновения своему надменному оскорбителю!

И даже подхваченный в охапку кем-то из мальчишек, быстро увлекавшим его подальше от места происшествия, Тяпка продолжал победно взбрёхивать.

Наталия Иосифовна Грудинина

Черная собака Динка

Я расскажу вам о семнадцатилетнем парне.

Его зовут Миша. Он два года сидел в шестом классе, потом ещё два года в восьмом. И всё

потому, что ни один предмет его не захватил. И он не мог ещё себе сказать: буду, к примеру, астрономом. А поэтому — буду уже сейчас много заниматься математикой.

Что он любил в жизни? Немножко — хоккеей. Чуть побольше — выжигать рисунки по дереву. Но долго заниматься ни тем, ни другим почему-то не мог. Мать с отцом по очереди драли его за уши, даже когда он уже получил паспорт. И поделом, надо сказать.

Впрочем, появилась-таки у Миши одна привязанность. Шесть месяцев он выращивал щенка — чёрную овчарку по кличке Динка. Динку подарила ему в день рождения тётя Шура, очень серьёзная женщина. И подарок её оказался тоже очень серьёзным. Миша полюбил Динку. Но от этой любви ушам его легче не стало.

— Тебе только собак гонять, — ритмично выговаривал отец, дёргая сыновнее ухо.

Серьёзное ли дело — собаки? По мнению многих — нет. Но странно одно: хоккеей надоедал, а Динка нисколько. Хоть приходилось для неё самому и суп варить, и молоть на кофейной мельнице яичную скорлупу для укрепления щенячьего костяка. И всё это обязательно и ежедневно.

И вот случилась неприятность. Динка заболела чумой. Она лежала на сундуке тихая и горячая, положив морду на большие пушистые лапы. Наведалась тётя Шура и сказала:

— Чума — болезнь очень серьёзная. Не будь легкомысленным. Сейчас же отдай в ветеринарную больницу. Многие псы после чумы калеками остаются. То нога перестаёт работать, то вдруг весь дёргаться начнёт...

И Миша отдал Динку в больницу.

Кстати, вы слышали когда-нибудь о такой больнице? Она на окраине города. Вокруг — сад, большие тенистые деревья и очень много травы. Лечат там и коров, и лошадей, и прочую живность. А есть специальное отделение для чумных собак. Они сидят там каждая в своей клетке. Им вводят уколами витамины. Всыпают за щеку порошки, а потом, высоко подняв собачьи головы, приказывают: глотай. Греют больных под солюксом. Приходить к ним надо каждый день, а если по два раза в день — то и совсем хорошо. Во-первых, потому что ни ветеринар, ни зоотехник, ни санитарка делать процедур без хозяев собакам не станут. Чужого собака и укусить может. Ну, а во-вторых, и в главных, животное скорее поправляется, когда часто видит хозяина и знает — не бросил! Это уже замечено, проверено и доказано.

В больнице работает доктор Южин. Ему семьдесят лет. Давным-давно пора на пенсию. Но пенсия вообще дело скучное, а для него в особенности.

Был когда-то доктор Южин ветеринаром Первой Конной армии. Сам товарищ Будённый за научный подход к лошадям так ему руку жал, что пальцы немели. Под белым халатом доктора — выцветшая гимнастёрка. Он неразговорчив, и любимое его слово — «бывает». Да, бывает, что состарился, что пришлось заняться работой полегче... Бывает, что войны нет, бывает, что не суровые конники летят во весь дух по вздыбленным дорогам, а невоенные, модно одетые люди приводят к доктору своих породистых собак. И люди эти бывают разные.

Приходит, к примеру, любитель-охотник и приводит курносую лайку. Он говорит:

— Если быстро бегать не будет, усыпляйте.

Ведь охотнику собака нужна для дела, да и самой собаке без любимого своего охотничьего

ремесла жить будет невыносимо...

А недавно пришёл профессор-физик и привёл молодого дога голубой редкой масти. Профессор сказал:

— Очень прошу вылечить. Мне эта собака очень дорога. Она на редкость ласковая.

Правильно. Собаку надо вылечить. Ласка и доброта помогает людям работать, думать. А думы профессора очень нужны стране.

Часто приходят старушки и приносят на руках маленьких псов: шпицев, такс, бульдожек. Они почти всегда одиноки, эти старушки, и сил у них хватает только чтобы о малогабаритных собаках заботиться. И нет в этом ничего зазорного или смешного. И питомцев их надо лечить так же обязательно, как уважать старость.

Словом, смотрит доктор зоркими глазами сначала на человека, потом на собаку. И действует, как подсказывает разум и сердце.

Собачья больница опрятна и чиста, почти как человеческая. Доктор — человек хлопотливый. По вечерам он задерживается тут на два-три лишних часа. Берёт кисть и подновляет скамейки и стены масляной, краской. Любит, чтобы всё было свежо и ярко.

Когда Миша привёл свою Динку, доктор спросил:

— Учишься хорошо?

— Плохо.

— А собаку любишь?

— Да.

— А для чего тебе собака?

— Так... для меня...

— Ладно, — сказал доктор. — Твоё место — палата три, клетка восемь. Принеси войлок на подстилку и шерстяной платок, грудь Динки обвязать. У неё лёгочная форма чумы. Ей тепло требуется.

Миша проводил в больнице, по три-четыре часа. Носил Динке фарш и чай в термосе. Но легче Динке не становилось. Однажды доктор поставил её на стол, долго выслушивал, взял кровь на анализ. Потом сказал:

— Будем лечить сном, как человека. Во сне дело быстрее на поправку пойдёт.

И потянулись тревожные дни. Собака глотала снотворное и спала. Днём ли, вечером ли придёшь — спит... И, пока она спит, Миша слоняется по больнице, а не то — стоит около доктора, осматривающего новых больных. Стоит и переживает: будут усыплять или лечить?

...Однажды утром подкатила к воротам больницы новенькая малиновая машина. Из неё вышли молодые супруги. Красивые. И одеты красиво. Привезли бородатого жесткошёрстного фокстерьера по кличке Дарлинг, что значит по-английски «дорогой». Он был парализован — совсем не мог подняться на лапы.

Супруги очень огорчились — громко, вслух. Ведь какой игрун был, какой бедокур! Все ботинки, все туфли в доме погрыз, даже модельные босоножки, которые в 40 рублей обошлись. Не беда! Ничего не жаль для Дарлинга. И — вот видите — привезли лечить! Очень далеко ехали, хорошо ещё, что машина своя...

Супруги называли Дарлинга всякими ласковыми именами: и ласточкой, и крошечкой, и даже сыночком! И вечером они снова приехали к нему вдвоём, и сетовали, что вот ведь отпуск кончается и что билеты есть на сегодня в театр, но Дарлинг — важнее, пусть театр пропадёт пропадом. И на завтра они тоже приехали утром, а вечером — не подошла к воротам малиновая машина.

Доктор постоял у Дарлинговой клетки, поглядел в окно, в длинную перспективу вечерней улицы, и сказал:

— Бывает...

А потом он подозвал Мишу:

— Погрей-ка Дарлинга под солюксом. Твоя Динка всё равно спит.

Миша прогрел собаку под круглым стеклянным солнцем, влил Дарлингу в пасть бульона, припасённого для Динки. И потом делал то же самое изо дня в день, потому что малиновая машина так больше и не приезжала.

Пока чёрная Динка спала, повязанная крест-накрест тёплым платком, Миша грел и кормил Дарлинга, тот подымал голову ему навстречу, словно спрашивая:

«Теперь ты мой хозяин, да?»

На одиннадцатый день болезни Дарлинг пережил кризис. Температура у него резко упала ниже нормы. Зрачки закатились так высоко, что между век белели только глазные яблоки. Зоотехник поддерживал Дарлинга уколами камфары. А доктор в какой-то самый опасный, одному ему известный момент вдруг разжал ножом судорожно стиснутые зубы собаки и влил ей в горло полстакана портвейна. Через пять минут собачьи зрачки выкатились из-под век и встали на место.

Дарлинг задышал часто и прерывисто, и Миша почувствовал, как медленно и верно начинает теплеть под его ладонями пушистое розоватое тело фокстерьера.

— Теперь помочь ему надо с параличом справиться, — сказал доктор и научил Мишу, как массировать Дарлинга и как делать ему лечебную гимнастику.

Часами растирал Миша плоские, слежавшиеся мускулы собаки, терпеливо вытягивал ей лапы — то одну, то другую. И с удовлетворением чувствовал, как круглятся и твердеют мышцы, разбуженные руками человека.

И вот доктор Южин позвонил по телефону молодым супругам:

— Можете забирать вашего Дарлинга... Да, выздоровел. Тут ему один парень здорово помог... Поблагодарить?.. Ну, это уж вы сами сделаете.

Молодые супруги приехали взволнованные и очень смущённые. Привезли Мише большую коробку конфет и долго-долго тараторили: мы, мол, не могли приезжать, у нас, мол, отпуск

кончился, мы, мол, так много работаем...

— Бывает, — сказал доктор Южин и выписал Дарлинга домой. Он хорошо знал, что у таких хозяев здоровая собака как сыр в масле катается, а вот больная-то она вроде бы сразу перестаёт быть нужной. Есть люди, которые идут навстречу только радостям, а от печалей бегут в кусты...

После Дарлинга выходил Миша и огромного сенбернара Матроса, у которого хозяйка, актриса, уехала на гастроли, и полосатую боксёршу Патти, к которой ходила восьмилетняя девочка и, ясно же, ничего не могла делать как надо.

— Мишка, подсоби! — кивал ему зоотехник, которому не справиться было даже при хозяине с каким-нибудь зубастым лохмачом, не желающим терпеть уколов.

Собаки не кусали Мишу, и доктор говорил:

— Бывает. Руки у тебя спокойные. Больному спокойствие полезно.

А чёрная собака Динка спала уже десять дней, и Миша даже иногда забывал о ней, заверченный водоворотом необыкновенной своей работы.

Но вот явился однажды в больницу Мишин отец.

— Что это ты, доктор, сына моего на аркане держишь? — хмуро сказал он. — Не можешь собаку вылечить, так усыпи. И освободи мне парня! Ему на лето в школе работа дадена, а он по сей день не принимался.

На следующий день Миша не пришёл в больницу.

— Бывает, — меланхолично произнёс доктор. — Не пустили, значит...

Он снова долго глядел в окно, в длинную перспективу вечерней улицы, словно бы кого-то ожидая, без кого уже как-то и не обойтись...

А потом он принёс кисть и густо выкрасил старую стремянку в весёлый, ярко-алый цвет. И, пока красил, всё думал, думал о чём-то своём — немолодом и мудром.

В полдень следующего дня Миша всё-таки пришёл к своей Динке, но клетка её была пуста. Бурей пролетел он по отделению, по коридору — двери визжали, лязгали на его пути. Он задел плечом свежевыкрашенную стремянку, и она грохнулась на пол, оставив на Мишиной куртке длинный алый след, словно свежую рану.

— Где Динка? — задыхаясь, крикнул он доктору Южину. — Усыпили?

— Ты тут обожди, парень, — отозвался доктор, не подымая глаз от карточек историй болезни. А потом не торопясь взял телефонную трубку, что-то кому-то сказал...

Миша не слушал. Он сидел, уставясь в стеклянный шкафчик с хирургическими инструментами. В зеркале стёкол и в блестящем металле ножей и пинцетов отражалось его лицо, такое бледное, что веснушки на нём резко выделялись, словно крошки чёрного хлеба на скатерти...

«Усыпили Динку, — колотилось в мозгу. — Усыпили, а может быть, она бы и выжила...»

Сколько времени он сидел так — неизвестно. Время для него перестало существовать. И время, и больница, и большие тенистые деревья в саду.

Он не услышал, как открылась дверь кабинета, и вздрогнул, когда доктор тронул его за плечо.

— На вот тебе Динку. Не горюй!..

Прямо перед Мишей выросла фигура знакомой санитарки. На поводке у неё была собака. Только совсем не Динка.

И вовсе даже не похожая. Шотландская овчарка. Глаза сияющие, янтарные, а хвост как у чёрно-бурой лисы. Великолепное, редкой красоты животное глядело на Мишу с любопытством и доброжелательством.

— Это... кто? — выдохнул Миша.

— Это — для тебя, — ответил доктор. — Её привели сюда усыпить. Хозяин уехал из Ленинграда. Чумой она у тебя не заболеет. Раньше уже переболела. А твою усыпить пришлось. Не жилица она была на белом свете. Я это давно видел. Зови эту Динкой, если хочешь. Я сам не знаю, как её прежде звали.

Доктор передал Мише поводок и вышел из кабинета.



— Такую душу, парень, как у нашего доктора, ещё поискать надо, — заговорила санитарка. — Он же специально твою Динку на снотворном держал, жизнь ей тянул, чтобы ты надежды не терял, пока он тебе другую собаку подберёт. Понял? Такую хоть сейчас на выставку — медаль обеспечена. Ну, да ты и заслужил! Сколько собак выходил, молодчина ты мой сердешный...

Всё ещё молча Миша потянул за поводок. Чудо с янтарными глазами приблизилось и положило ему на колени свою длинную аристократическую морду.

Илья Григорьевич Эренбург

«Каштанка»

Мы часто употребляем слова условно, не задумываясь, подходят ли они к случаю. Так гитлеровцев иногда называют «собаками». А вот передо мной Жучка, мохнатая лайка с добрыми карими глазами. Она спасла немало раненых бойцов. Нет в ней ничего общего с жестокими и низкими существами, которые приползли на нашу землю, и обладай Жучка даром речи, она, наверно, сказала бы своему вожатому: «Не зови ты немцев собаками».

Издавна собаку окрестили четвероногим другом. Она помогала и пастуху, и охотнику, и пограничнику.

Ум собаки и терпение её воспитателя делают чудеса. Все знают, как собаки-водолазы спасают тонущих или как сенбернары выручают путников, замерзающих в горах.

Кто зимой не видел на фронте нартовых собак? Это русские лайки, пушистые, ласковые, выносливые. Они спасли тысячи и тысячи жизней. В лесу по глубокому снегу четыре лайки быстро, но осторожно везут лодочку с раненым. Машины не могут проехать, лошади не проходят, а собаки совершают по несколько рейсов в день.

Помню одну упряжку. Лайки замечательно работали, только иногда Шарик ворчал на Красавчика — они были в ссоре, но знали, что теперь не до драки, и ворчали вполголоса. В лодочке лежал раненый лейтенант, любимец роты: осколок мины разбил колено. Один из бойцов подошёл к псам, погладил их и серьёзно сказал: «Молодцы, что довели...»

На одном участке Западного фронта отряд нартовых собак перевёз за месяц 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Передо мной записка, нацарапанная наспех карандашом: «Наша часть, наступая, несёт потери. В церкви скопилось много раненых. Вывезти не на чем. Если можно, сейчас же пришлите нартовых собак. Положение серьёзное. Командир медсанбата». Собаки успели вовремя и вывезли раненых.

Собаки выручали и в заносы и в распутицу. Теперь собаки тащат упряжки на колёсах. Они пробираются по лесу между кустами. Их не пугают ни мины, ни пули. Я знаю лайку Мушку. Осколок мины оторвал у неё ухо, но она продолжает работать. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не идёт, но ползёт. Другие собаки явно уважают Мушку и следуют её примеру. Мушка вывезла много раненых. Недавно один боец отдал ей свой кусок мяса и задумчиво сказал: «Как будто она... А может, и не она — похожая... Вот такая меня спасла возле Ржева...»

Есть собаки по природе приветливые, общительные, они незаменимые помощники санитаров. Было это возле Сухиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые попрятались в ямах или в воронках. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и громко, взволнованно дышит: я здесь. Боб ждёт, не возьмёт ли раненый перевязку: на спине у собаки походная аптечка. И Бобу не терпится — скорей бы взять в зубы брэндель (кусочек кожи, подвешенный к ошейнику, — знак того, что собака нашла раненого) и поползти к санитару: иди сюда... Боб нашёл семнадцатого — лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла за санитаром, начался обстрел из миномётов. Осколок оторвал у Боба сустав передней лапы. Он всё же дополз до хозяина, не выпуская изо рта брэнделя, торопил: скорей за мной!..

Есть и другие собаки, с характером угрюмым, недоверчивым. Эти превосходно охотятся за «кукушками». Барс открыл трёх немецких автоматчиков, четвёртый застрелил Барса, но тем

самым выдал себя и был снят снайпером.



Видел я и другого охотника за «кукушками» — Аякса. Это крупная, отнюдь не приветливая овчарка. Аякс не выносит немецкой формы, серо-зелёная шинель приводит его в ярость. Кроме того, Аякс считает, что человеку не подобает сидеть на дереве. Для него самое большое удовольствие прочесать лес.

Я не знаю, можно ли перевоспитать молодых гитлеровцев. Сомневаюсь. Но немецкую собаку наши перевоспитали. Её взяли вместе со штабными бумагами. Она занималась низким делом: искала партизан. Теперь этот пёс, прозванный Фрицем, ищет «кукушек».

В январе гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у врага — под Вереёй. Проволочная связь часто рвалась, радиустановки были разбиты. Связь поддерживали четырнадцать собак. Собаки ползли по открытой местности под ураганным миномётным огнём. Здесь погибла овчарка Аста, она несла из батальона на командный пункт полка донесение: «Огонь по берёзовой роще». Аста, раненная, доползла до своего вожатого Жаркова. Положение было восстановлено. В тот самый день был ранен Жарков.

Однажды собака Тор принесла следующее донесение: «Залегли. Не можем поднять головы — сильный обстрел». Тор понёс назад приказ: «Людей поднять. Вести наступление». Два часа спустя гвардейцы вошли в Верею. Комиссар полка Орлов говорит: «Собаки нас выручили под Вереёй...»

Как не вспомнить рыжего эрдельтерьера Каштанку? Раненная в голову, с разорванным ухом, истекая кровью, Каштанка подползла к вожатому: доставила в батальон донесение. Её забинтовали и отослали назад: другой связи не было. Две недели, забинтованная, она поддерживала связь с резервом. Было это возле Нарофоминска. Там Каштанка и погибла от снаряда. Многие бойцы её помнят.

Связная собака предана долгу, её не остановят ни пули, ни птица в кустах, ни река, ни смерть: она спешит с донесением. Она пробегает, а под огнём, маскируясь, проползает два-три километра. Красноармеец Козубовский добился, что его собака поддерживает связь между двумя пунктами, расположенными на линии огня и отстоящими один от другого на шесть километров.

Когда наши защищали высоту Крест, эрдель Фрея проделала тридцать три рейса — семьдесят

километров. В последний раз Фрея принесла донесение смертельно раненная: осколок мины раздробил ей челюсть.

Что добавить к этому простому рассказу? На войне люди больше, чем когда-либо, ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь Каштанка спасает раненого хозяина.

Илья Львович Миксон

Сапер

Время было раннее, шёл дождь, и в летнем павильоне станционного буфета посетители занимали только три столика. За одним из них сидел мужчина лет сорока. Он сидел наклонившись, лишь изредка бросая взгляд на море. Оно простиралось рядом, за полотном железной дороги. На фоне вспененного моря резко белела скамья с прилипшей к сиденью газетой.

Подле мужчины сидела овчарка, рыжая, с белыми пятнами на груди и лапах; треугольники ушей обвисли, как лацканы старого пиджака. Крупная голова овчарки прижималась к коленям хозяина, и вся овчарка была устремлена к нему, явно истосковавшаяся по ласке. При каждом прикосновении жилистой, покрытой светлым пушком руки овчарка подавалась вперёд, стараясь продлить приятное мгновение, и хвост её от удовольствия плавно стелился по полу из стороны в сторону.

Шерсть на боках овчарки свалялась, на спине лоснились тёмные мокрые пятна. Кожаный потрескавшийся ошейник вытер и примял широким кольцом светлый ворс.

Мужчина поднял голову. В глазах, тёмных, редких для веснушчатого лица, светилась нежность. Рука продолжала мягко поглаживать шерсть на загривке овчарки, и я расслышал несколько раз тихо произнесённое слово: «Сапёр».

Подошёл официант. Принёс чай, бутерброд с кетовой икрой и глубокую тарелку с мясным блюдом.

— Вообще-то не полагается, — вполголоса сказал официант, но в тоне его не было ни упрёка, ни недовольства. Он выговаривал просто так, для формы. — Да и ни к чему, Виктор Иванович, — добавил официант, наклонив седую голову. — Балуете вы его.

— Воскресенье, — отозвался мужчина. — Выходной день.

Белая молния полоснула изломанной стрелой и мертвенной вспышкой выбелила всё вокруг. Овчарка теснее прижалась к хозяину. Раскатистой канонадой обрушился гром.

— За посуду уплачу, — сказал мужчина.

Официант ничего не ответил и шаркающей походкой удалился к буфетной стойке.

Мужчина поставил на пол тарелку с мясом и тихо произнёс:

— Кушай, Сапёр!

Это прозвучало не приказом, не разрешением, а просьбой. Еда была угощением.

Овчарка, благодарно взглянув на хозяина, принялась не спеша есть.

Хозяин, подперев щёку, смотрел на овчарку. Морщины на его крутом, обожжённом загаром лбу разгладились и белели, как шрамы.

Время от времени овчарка отрывалась от еды и поглядывала вверх, как-то странно наклоняя голову набок.

— Кушай, Сапёр, кушай, — приговаривал хозяин. Сам он не притронулся ни к чему и только курил.

Дождь затих так же внезапно, как и начался, серая бахрома его быстро отступала в море. Снова блеснула молния, но уже далеко, и звуки грома долетели отголоском дальних взрывов.

Грозовая туча уходила всё дальше и, уплотняясь, будто упершись в горизонт, густой фиолетовой массой залегла вдали.

Мужчина разломил бутерброд, меньшую часть съел сам, а большую протянул на ладони овчарке:

— Кушай, Сапёр, кушай.

Приблизился официант, издали наблюдавший всю сцену, и молча положил на стол счёт. Мужчина подал деньги и направился, заметно прихрамывая, к выходу. Овчарка последовала за ним. Она была рослой, почти по пояс хозяину, с могучими, крепкими лапами и большой красивой головой. Правый глаз её был закрыт. Мужчина с овчаркой свернули за угол и скрылись из виду.

Что-то необычное было в этой странной паре.

— Откуда у собаки такое имя — Сапёр? — заговорил я с официантом. Судя по всему, он знал многое о мужчине с овчаркой.

Глаза пожилого, немало повидавшего человека внимательно посмотрели на меня.

— Вы не ослышались: Сапёром зовут. — Это всё, что он сказал мне тогда.

Через несколько дней я покидал станцию Залив. Обычно на запад отсюда уезжали через Владивосток, но я решил садиться в Заливе, на проходящий.

На станцию я пришёл загодя и спустился к морю. Там на одинокой скамье я и встретился вновь с пожилым официантом Ефимом Михайловичем Аплачкиным.

Низко над морем ярко блестела Венера. Мерцающее дымчатое отражение её пересекало гладь залива, как дорога. Аплачкин смотрел на эту звёздную дорогу, когда я присел рядом и поздоровался. Не поворачивая головы, он молча кивнул в ответ. От папиросы отказался, а когда я прикуривал, взглянул на меня и узнал.

— Это вы тогда о собаке спрашивали? Сапёром зовут, Сапёром, — сказал он, будто продолжая только что прерванный разговор. — А хозяина её — Чемерисом, Виктором Ивановичем Чемерисом. Из военного санатория он.

* * *

Виктор Иванович Чемерис работал в санатории начальником квартироэксплуатационного отделения. Должность соответствовала его профессии. Чемерис окончил строительный

техникум, в войну был сапёром. На фронте Чемерис и повстречал рыжую овчарку. Впрочем, сперва она была грязным рыжим кутёнком, отбившимся от матери и хозяев. Солдаты сапёрной роты нашли его в развалинах дома в Сталинграде. Щенка отнесли в овраг, к кухне, накормили, приласкали, и он так и прижился в роте.

Долгое время солдаты называли щенка как кому вздумается. Безымянный пёс, услышав перезвон котелков, стремглав бросался к кухне, усаживался в сторонке и терпеливо ждал, пока растает весёлая очередь и повар вывалит на какую-нибудь дощечку или просто в снег добрую порцию пшённой каши с мясными консервами.

Однажды в обеденный час пришёл командир взвода лейтенант Чемерис, высокий, плечистый, с рыжеватым чубом, выпиравшим из-под серой ушанки.

Ремень со звёздной латунной пряжкой перетягивал зелёный ватный костюм, сбоку плотно прилегал пистолет в коричневой кобуре.

— А этого сапёра почему не кормят? — весело спросил Чемерис.

Все рассмеялись и принялись наперебой звать пушистого щенка:

— Сапёр, давай в очередь!

— Тащи котелок, Сапёр!

— Где его посудина? — обратился Чемерис к повару. Аплачкин развел руками:

— Нету. Да и не полагается, не полагается возить при кухне собачью миску.

— Не полагается? Ну что ж, сам буду носить, — сказал Чемерис и поставил перед чёрным влажным носом овчарки свой круглый котелок. — Кушай, Сапёр!

С той поры за собакой и закрепилась кличка Сапёр, а лейтенант Чемерис стал её признанным хозяином.

Сапёр ходил за Чемерисом повсюду, спал в его землянке и вместо ординарца выполнял мелкие поручения: подавал сапоги, которые Чемерис по укоренившейся привычке сбрасывал с ног в разные стороны, носил газеты, а потом и письма. Стоило в расположении роты появиться почтальону, как Сапёр низкой, стелющейся рысью бросался к нему навстречу и, нетерпеливо поводя вытянутой мордой, ждал письма для своего хозяина. Почтальон, требовавший от счастливых адресатов: «А ну, дай кусочек самостоятельности!» — заставлял и Сапёра отрывать от земли передние лапы, когда на имя лейтенанта Чемериса приходило письмо.

Чемерис уже командовал ротой, когда Сапёр стал всё реже и реже приносить белые конверты. Что уж там случилось в тылу — неизвестно, но переписка и вовсе оборвалась. Напрасно огромная рыжая овчарка с белыми пятнами на груди и лапах вытягивала своё сухое мускулистое тело, просяще и тоскливо заглядывая в лицо почтальону.

— Нэма капитану, Сапёр, нэма ничего, — печально говорил почтальон.

И Сапёр, опустив пушистый, чуть изогнутый хвост, возвращался ни с чем и молча укладывался у ног хозяина.

— Забыли нас, Сапёр, а? — спрашивал Чемерис и, размеренно поглаживая крупную голову

овчарки, приговаривал: — Ничего, Сапёр, будет и на нашей улице праздник.

Но, видимо, капитан Чемерис и сам не верил в свои слова.

И всё же праздник наступил, но лишь для Сапёра. Это произошло зимой, в феврале, в районе Витебска. Рота Чемериса восстанавливала повреждённое артиллерийским обстрелом минное поле перед нашим передним краем. Дивизия занимала оборону в небольшом районе, прозванном солдатами чёртовым мешком. День и ночь среди голых, изрытых окопами высот и в топкой низине с поредевшей, иссечённой и изрубленной рощицей рвались снаряды и тяжёлые мины.

Капитан Чемерис с солдатами работал на нейтральной полосе. Сапёр, по обыкновению, ожидал своего хозяина в первой траншее, примостившись рядом с наблюдателем, солдатом Расторгуевым. (Расторгуев страдал ревматизмом и не мог ходить на задания.)

В четыре часа утра пришёл повар ефрейтор Аплачкин. Он и в окопе держал себя, как некогда у раскалённой плиты, — откинув назад голову. Аплачкин сбросил с плеч термос с горячим чаем и, тяжело отдуваясь, стал свёртывать сигарку.

— Почта так и не приходила? — спросил Расторгуев.

— Принёс, — ответил, придыхая, Аплачкин и достал из-за пазухи тощую пачку конвертов.

Овчарка подняла голову и уставилась на Аплачкина.

— Есть, — успокоил тот. — И капитану нашему, Чемерису, есть.

Услышав знакомое имя, Сапёр нетерпеливо толкнул носом в грудь сидевшего на корточках Аплачкина. Тот опрокинулся на спину.

— Обалдел, что ли? — разозлился Аплачкин.

Но Сапёр продолжал наступать молча, без единого звука, только обнажив острые клыки. Хвост поднялся и загнулся кверху.

— Будь ты неладен... — выругался Аплачкин и, перебрав пачку, протянул письмо.

Сапёр мягко схватил конверт и лёгким прыжком вскочил на бруствер.

— Куда! — опомнился Аплачкин, но Сапёр уже исчез в темноте.

— Эх, Ефим Михайлович, — в сердцах сказал Расторгуев, — загубили вы Сапёра, подорвётся он. Мин тут, наших и германских, как пшена в вашем рататуге.

Но Сапёр, продвигаясь по следу хозяина, благополучно миновал все опасности. Там, где след превращался в сплошную борозду, Сапёр прижимался и полз.

Чемериса неожиданно ударили по ноге, и он оглянулся. Позади темнела огромная голова с острыми ушами. Два мерцающих глаза и что-то белое, плоское. Чемерис сразу понял, в чём дело, и, притянув к себе голову овчарки, шепнул в самое ухо:

— Дай.

Чемерис на ощупь убедился, что в руках у него толстое письмо, и спрятал его через отворот

полушубка в гимнастёрку. «Дорогой ты мой Сапёр! — ласково подумал Чемерис. — Спасибо тебе». И жестом приказал: «Назад, место!»

— Ползёт кто-то, — предупредил Расторгуев.

Аплачкин встал рядом и тоже всмотрелся в темень. Наконец и он разглядел что-то чёрное, быстро выроставшее на светлом снежном настиле. Вот вспыхнули и снова погасли два огонька. «Сапёр!» — облегчённо вздохнули оба солдата. Через минуту Сапёр сидел рядом, высунув трепещущий язык.

— Вот сукин сын! — беззлобно выругал Сапёра Аплачкин и погладил жёсткую шерсть на холке.

Овчарка, чувствуя недавнюю вину, разрешила приласкать себя, затем улеглась и зажмурила глаза.

Прошло с полчаса, когда Сапёр вдруг встрепенулся и завилял хвостом.

— Наши идут, — уверенно сказал Расторгуев.

...Самодельная жестяная кружка из консервной банки давно перестала дымиться в ногах капитана Чемериса, а он, привалившись к мёрзлой глине окопа, прикрыв полый измазанного полушубка жёлтый свет фонарика, всё читал и перечитывал длинное, самое длинное за всю войну письмо.

Сапёр преданно и довольно следил за хозяином, ожидая заслуженной благодарности. Он несколько раз тронул лапой сапог, пока Чемерис не обратил на него внимание.

— Хорошо, Сапёр. Хорошо...

И Чемерис погладил массивную голову Сапёра.

...Оттаяли мёрзлые комки на брустверах траншей, отшумели под солдатскими сапогами весенние потоки, высохли раздавленные гусеницами и колёсами фронтовые дороги. Остались позади белорусские леса и болота, отплыли литовские тракты. И снова наступила зима, но уже прусская: тёплая и мокрая. Гитлеровцы держались за свои фамильные фольварки, остроконечные кирхи и охотничьи уголья. Они опоясались многокольными рядами колючей проволоки и густо засеянными минными полями.

Рота капитана Чемериса получила приказ сделать несколько проходов во всю глубину нейтральной полосы — от своих траншей к немецким.

За час до полуночи сапёры один за другим перевалились через бруствер и бесшумно поползли вперёд. Ушёл с ними и Чемерис. Сапёр остался в траншее, чутко прислушиваясь к фронтовой ночи.

То и дело взлетали ракеты, проплывали изогнутые трассы разноцветных угольков пулемётных очередей, выли и с треском лопались мины.

Сапёр лежал спокойно, лишь жмурил глаза при каждой вспышке осветительных ракет-фонарей. Покачиваясь на тонких стропах парашютиков, они опускались вниз, искрящиеся, ослепительно белые, волоча за собой редкие голубоватые хвосты дыма.

Вдруг ракеты стали взлетать чаще, в небе сразу повисло десятка два ярких фонарей. Сотряся

воздух, гулко забили крупнокалиберные пулемёты, рванулись автоматные очереди. Натужный вой мин слился с жаханьем и грохотом разрывов.

— Накрыли, — прошептал Расторгуев. — Эх, напасть какая!

Последние слова он прокричал. Таиться уже не было смысла: для прикрытия сапёров ударили наши орудия.

Овчарка заволновалась, будто почуяв беду.

В разных местах в траншею скатывались солдаты, переведя дух, отчаянно ругались и, роняя зёрна махорки, свёртывали огромные сигарки.

Осторожно на руки товарищей спустили раненых. Когда собрались почти все, кто-то спросил:

— А капитан где?

Чемериса не было, не возвратились с ним ещё четверо.

Трое солдат, не сговариваясь, аккуратно пригасили самокрутки и уползли на помощь. Один из них не вернулся, двое, помогая друг другу, в изорванных, вспоротых осколками полшубках, дотянулись до окопов, но перевалить через бруствер уже не смогли, не хватило сил.

— Эх, напасть какая! — сокрушённо повторил Расторгуев и, кряхтя, полез наверх.

Когда прошло полчаса, все поняли, что ждать Расторгуева нечего.

— Придётся пересидеть, — тихо произнёс черноусый сержант.

Постепенно пальба затихла; всё реже вспыхивали ракеты. Новая спасательная группа изготовилась к вылазке, когда послышались странные звуки, будто волоком тащили нелёгкий груз.

— Сапёр!

Сапёр всё ближе подтаскивал грузное тело капитана Чемериса, уцепившись за ворот его телогрейки. Солдаты бросились на подмогу. Чемериса уложили на дне окопа.

— «Сюрприз», — прошептал кто-то.

Все тотчас взглянули на ноги капитана. Правая вместе с сапогом была срезана у щиколотки противопехотной миной с праздничным названием: «Сюрприз».

Чемерис, не открывая глаз, сдавленным голосом позвал:

— Сапёр!

Лишь теперь все обратили внимание на исчезновение овчарки.

— Сапёр, — снова позвал Чемерис. Лицо его, серое, в копоти, выражало странное спокойствие.

— Придёт сейчас, — отвлекая, сказал фельдшер, осматривавший капитана.

Затылок раненого был в липких сгустках. Фельдшер озабоченно нахмурился. Санитар подал

тампон, и фельдшер осторожно, поглядывая в лицо Чемериса, стал вытирать кровь. Солдаты напряжённо следили за рукой фельдшера. Вдруг губы его дрогнули, и он облегчённо вздохнул: то была чужая кровь.

— Шапку, — бросил фельдшер.

К нему сразу протянулось несколько рук с шапками, но фельдшер надел на Чемериса свою шапку, будто командовал лично себе. После этого фельдшер принялся обрабатывать искалеченную ногу. Голенище он разрезал и отбросил в сторону, прямо к ногам черноусого сержанта. Тот отодвинулся, чтобы ненароком не наступить, будто это была не кирза, а человеческая кожа.

— Сапёр, — опять позвал Чемерис и открыл глаза.

И, словно лишь сейчас услышав зов, сверху обрушилось гибкое могучее тело овчарки. Она раздвинула столпившихся солдат и уселась рядом с Чемерисом. И все одновременно увидели в крепких челюстях кирзовый опорок с застывшим в нём оранжево-красным месивом.

Сапёр принёс это, как обычно приносил хозяину его сапоги.

Никто не решился скомандовать: «Дай!» На это имел право только капитан Чемерис, хотя то, что принёс Сапёр, уже не принадлежало ему.

— Дай, — без всякого выражения произнёс Чемерис. Опорок мягко упал на землю.

— Перевяжите его, — тихо потребовал Чемерис.

На месте правого глаза Сапёра чернела запёкшаяся рана. Закончив бинтовать ногу, фельдшер коротко бросил санитару:

— Носилки.



— Перевяжите его, — твёрдо повторил Чемерис, он уже не закрывал глаза и не жмурил их. Боль замерла, чтобы потом, позднее, терзать ослабевшее тело.

Фельдшер взглянул на Чемериса и молча стал обследовать овчарку. Она вдруг сделалась

послушной, как тяжело больной ребёнок, и тихо заскулила.

Двое солдат подняли носилки с раненым и двинулись по узкому извилистому проходу. Сапёр непривычно наклонил забинтованную голову и неотступно шёл за ними. Никто не пытался удержать его.

Когда уже в медсанбате капитана Чемериса вносили в санитарную машину, врач в белом халате с туго закатанными по локти рукавами притопнул ногой:

— Пошёл вон!

Но Сапёр, не обратив на это никакого внимания, впрыгнул в кузов «санитарки» и уселся рядом с носилками. Его пытались выгнать, но оцетинившаяся огромная овчарка с забинтованным глазом выглядела столь грозно, что дотронуться до неё было страшно, а крики не оказывали никакого воздействия.

— Принесите-ка палку! — распорядился врач.

Но в это время раздался предостерегающий крик:

— Воздух!

В небе угрожающе завывали «хейнкели».

— Ну вас! — нетерпеливо засуетился шофёр. — Едем или нет?

Врач, сдавшись, махнул рукой:

— Чёрт с ним, в госпитале отделаются. Но в госпитале от Сапёра не отделались.

Чемерис, очнувшись после операции от наркоза, позвал овчарку. Он не успокоился, пока её не впустили к нему. Сапёра предварительно искупали и сменили повязку. Он терпеливо вынес процедуры, инстинктивно чувствуя, что иначе его не допустят к хозяину.

Так они и лечились вместе в одном госпитале, капитан Чемерис и овчарка Сапёр.

Сапёр поправился после ранения быстро, но долго не мог привыкнуть смотреть на мир только одним глазом. Постепенно он освоился со своим положением и с новыми, отличными от фронтовой жизни условиями. Сапёр стал заметно общительнее и добрее, особенно к людям в белых халатах, но навсегда сохранил неприязнь к белым закатанным рукавам. Его знали и любили во всём госпитале, баловали лакомыми кусочками, играли с ним. Сапёр возился с удовольствием, но ни за что не выполнял команды: «Взять!» Однажды у него на виду бросили колбасу: «Сапёр, взять!» Но Сапёр улёгся на траву, положил голову между вытянутых лап и тихонько, тоскливо завыв, вспомнив что-то далёкое-далёкое...

Из госпиталя Чемерис выписался спустя два месяца после войны. Он долго не мог решить, куда ехать, а тут подоспело письмо от бывшего ротного кашевара Ефима Михайловича Аплачкина. Он демобилизовался и вернулся к себе на маленькую станцию неподалёку от Владивостока.

* * *

— Я в ту пору демобилизовался уже, подчистую ушёл. — Мой собеседник сожалеюще

вздыхнул. — Домик у меня тут. Вдвоём с женой, одни мы. Сынок в Силезии навечно полёг. Не приходилось в тех краях бывать?.. И мне тоже... Простите, величать вас как по имени и отчеству?

Я назвался, но Аплачкин, как и прежде, обращался ко мне безлично.

— Ну вот. Уговорил я капитана. Выдали ему документы до станции Залив Приморской железной дороги. И на Сапёра выдали. От сопровождающей сестры капитан отказался, а за счёт этого, значит, выпросил литер на «служебную собаку-санитара породы восточноевропейская овчарка по кличке Сапёр». Сперва у меня жили, потом капитан свою квартиру получил.

Из-за каменистого мыса нарастал шум поезда. Пора было собираться.

— И поныне живут они вместе, капитан с Сапёром?

— А кто ж их разлучит?

Виктор Викторович Конецкий

Петька, Джек и мальчишки

Петька приехал в этот маленький среднеазиатский городок из блокадного Ленинграда и жил вместе с матерью в глиняном домишке-сарайчике, стоявшем среди корявых, развесистых карагачей. За этими карагачами виднелись жёлтые поля выжженной солнцем кукурузы. Поля переходили в холмы, а над холмами поднимались высокие горы со снежными вершинами.

Горы были красивы. Особенно по утрам, на восходе. Тогда они делались розовыми, золотыми, алыми. Но Петька не замечал красоты солнечных восходов и горных вершин. Он был слаб, худ и всегда хотел есть. И по утрам угрюмо, с тоской и даже страхом думал о том, что за сегодняшним днём придёт второй, третий...

Петьке надоело жить, хотя ему было всего одиннадцать лет. Глядя на восход или закат солнца, он вспоминал раскалённые докрасна железные балки того дома, в котором они с матерью раньше жили в Ленинграде. Дом сгорел от зажигательных бомб. Он долго не мог потухнуть. Недалеко от пожарища лежала на снегу мёртвая дворничиха.

Петька всё не мог забыть войны, искрошенного минами льда на Ладожском озере, скрежета проносившихся над самой головой самолётов, непрерывного холода и неуютности. Он часто поёживался, даже сидя на самом солнцепёке. Солнце сжигало его бледную кожу, но не могло согреть нутра.

А Джек — рыжий, с белой грудью и чёрной полосой вдоль всей спины пёс — был очень силен и здоров. Ему нравилась злая безухая сука, которая жила недалеко от Петькиного домика. Сука выла по вечерам, и люди всегда сердились на неё, им становилось от этого плохо, тоскливо. Но Джек был собакой, и ему доставляло удовольствие слышать голос своей подруги. Он сидел где-нибудь в зарослях полыни и касторки, улыбался и ждал, когда люди спустят безухую суку с цепи. Никто не знал, откуда Джек появился. И наверное, он скоро ушёл бы из городка куда-то к себе домой, если б не встретил Петьку.

Они столкнулись нос к носу возле кухни пехотного училища. Петька нашёл там банку из-под свиной тушёнки с кусочком мяса на дне. Джек тоже учуял эту банку и стал смотреть на Петьку внимательно и насторожённо.

Было очень жарко. Жужжали мухи. Петьке хотелось выковырять мясо. Но он медлил. Он обещал матери никогда не есть отбросов.

Петька любил свою мать и не хотел обманывать её. Мать ещё недавно была молода и красива. А сейчас лежала в глиняном сарайчике старая и седая.

Петька проглотил слюну, шагнул к большому жёлто-белому псу и протянул ему банку из-под свиной тушёнки.

В самой глубине Джека родилось ворчание, чёрные влажные губы растянулись, обнажив клыки. Каждая собака кое-что знает про хитрые повадки мальчишек. Особенно если эти мальчишки одеты в рваные трусы. Джек не верил Петьке, не верил людям. Он присел на задние лапы, ворчание перешло в угрюмое рычание.

Петька испугался, бросил банку.

Джек обнюхал банку, придавил её лапой и неторопливо улёгся.

— Не обрежься, — уже равнодушно посоветовал ему Петька и сел на пыльную траву в тени акаций: у него вдруг закружилась голова и мир вокруг онемел. И эта большая собака, и качающиеся ветки акаций, и часовой у ограды пехотного училища, и маленькая соседская девчонка Катюха, которая горько плакала, расцарапав руку, — всё это стало для Петьки совсем беззвучным и точно поплыло куда-то в горячем воздухе полдня. Но он не волновался. Такое с ним случалось часто. Он упёр язык в щёку и старался дышать как можно глубже. И потихоньку опять стал слышать. Сперва плач Катюхи, потом кудахтанье курицы, потом далёкий крик ишаков на базаре.

Когда из зарослей акации вылезла взъерошенная чёрная курица, Петька уже совсем пришёл в себя. Он даже прошептал Джеку:

— Возьми её! Взы! Взы!

Джек перестал вылизывать банку и пошевелил затвердевшими ушами.

Петька ждал затаив дыхание.

— Взы! Взы! — повторил он. — Укуси её!

Пёс сделал скучающую, равнодушную морду, поднялся и, лениво волоча мягкими лапами, пошёл к чёрной курице.

Катюха перестала плакать и большущими, уже радостными глазами смотрела вслед Джеку. Он не лаял и не рычал. Просто взял и прыгнул. Ударили тяжёлые клыки, полетели перья и медленно опустились на пыльную, горячую траву. Когда они опустились, Джека уже не было. Он исчез. Он, видно, знал, что нельзя трогать этих крикливых, суетных птиц.

Поздним вечером Петька нашёл его в развалинах старой фруктовой сушильни. Безухая сука испугалась и убежала, а Джек ждал приближения Петьки, чуть слышно ворча. Когда на землю перед ним упали куриные кости, хвост пса вздрогнул и заработал из стороны в сторону.

Петька слушал, как трещат на зубах Джека кости.

Вокруг стояли тяжёлые, тёмные карагачи. На небе, как вспышки неслышных выстрелов,

сверкали звёзды. Ночь, наполненная шелестом тёплой листвы, была спокойна.

Джек съел кости и лёг на бок, вытянув ноги. Петька нагнулся и осторожно погладил его загривок.

Подошла мать.

— Вот он. Я назвал его Джеком, — сказал Петька.

— Иди спать. Ещё малярию подхватишь, — тихо сказала мать.

— Видишь, какой он большой и сильный? — спросил Петька.

Джек облизывался и слабо вилял хвостом.

— Если он будет убивать кур, его убьют самого, — сказала мать.

Она не знала правды. Петька сочинил для неё целый рассказ. Он сказал, что это была дикая, совсем сошедшая с ума птица, которая прибежала бог знает откуда, и Джек придушил её, потому что была совсем уже бешеная. Мать не стала уличать сына во лжи и ругать его. Она сварила из чёрной курицы суп. Мать была очень слаба. Она всё удивлялась, что живёт сама и жив её сын и что они действительно выбрались из страшного, холодного города. Ей хотелось только одного — чтобы Петька жил и дальше и чтобы он поправился.

Ночью Петьке приснился ужасный сон. Будто чёрная курица принадлежала Сашке — мальчишке с соседней улицы. И вот этот Сашка, а с ним его дружки — толстый Васька Малышев, Косой с Заречной стороны и киргизёнок Анас — окружили Петьку и подходят к нему ближе и ближе. Все они смеются медленным смехом и в руках держат куриные лапы с длинными когтями. Петька хочет бежать, прятаться, но не может, потому что в животе очень больно и холодно...

Он стонал и кричал во сне. Несколько раз мать зажигала коптилку, смотрела на сына и гладила его вихрастую голову.

Петька и наяву боялся мальчишек. Его били все, кому не лень.

В первый же день по приезде долговязый Сашка радушно предложил ему:

— Давай в ляну сыграем?

Сашка миролюбиво чесал спину рукояткой рогатки. Он был загорелый, прожаренный на солнце и весёлый после удачного выстрела по вороне.

— Не-ет, — сказал Петька. Он не знал такой игры. Да и вообще был слишком слаб и вял, чтобы играть.

— Почему?

— Я есть хочу.

— У тебя изо рта воняет... а шамать теперь все хотят.

— Знаю, — равнодушно согласился Петька.

Сашка для проверки широко размахнулся и... погладил себе затылок. Петька же зажмурился и согнулся.

— Ах ты вонючка! — заорал Сашка. — Из-за таких трусов мы Москву чуть фрицам не отдали!

И уже по-настоящему треснул Петьку по спине жёстким кулаком.

С этого и началось. Мать больше лежала. И Петьке приходилось каждый день ходить на улицу: то карточки обменять, то отдать в прописку документы, то за врачом в поликлинику. И где бы его ни встречали мальчишки, они считали своим долгом Петьку мучить.

Это племя не знает жалости...

Утром Петька проснулся хмурый и усталый. Он вышел во дворик и сел на глиняную потрескавшуюся завалинку, поджал коленки к животу.

Над жёлтыми полями, ослепительные, чистые, вздымались горы. Ещё по-утреннему влажная зелень огромной шелковицы в углу двора нежилась под низкими лучами доброго, нежаркого солнца. Пахло мятой, росой, кизячным дымком. Но Петька не замечал всего этого...

И вдруг из зарослей касторки и полыни вылез Джек. Он шёл по двору, низко опустив лобастую голову, обросшую густыми баками. Его длинная шерсть была светло-рыжей, даже оранжевой. Пёс был весь такой мягкий, живой и симпатичный, что Петька, увидев его, оживился, кулаками протёр глаза и сказал:

— Здравствуй, Джек!

Джек широко и сладко зевнул, немножко повертелся, пытаясь поймать свой хвост зубами, и лёг, положив на босую Петькину ногу тяжёлую голову.

— Он пришёл ко мне, мама! — крикнул Петька в темноту комнаты. — Джек пришёл к нам!

Мать не ответила.

Петька долго сидел неподвижно, чтобы не спугнуть тёплую голову, которая лежала на его костлявой маленькой ступне, и думал о том, как хорошо быть собакой, ни о чём не думать, никогда не мыться, вилять хвостом и ночевать в густой траве.

Двор просыпался. Из дома напротив вышла глухая старуха, имени которой никто не знал. Знали только, что она из Киева, и называли просто бабушкой. Старуха стала разводить огонь между двух камней в тени шелковицы. Вернулась с ночной смены хозяйка безухой суки Антонида.

— Ай да кавалер! Какого зверя приручил, — сказала она. — Сейчас я к вам ещё Катюху выпущу.

— Не надо, — сказал Петька. — Не надо мне Катюху.

— Ишь какой разборчивый кавалер, — засмеялась Антонида, блеснув красивыми белыми зубами. Она вообще вся была красивая и отчаянная.

Катюха осторожно слезла по ступенькам крыльца и подошла к Петьке. Она села на корточки возле собаки и стала не отрываясь смотреть на неё. Потом быстро протянула руку и тронула

Джека за хвост. Джек сразу же чихнул и поднялся на ноги.

— Не трогай, — угрюмо сказал Петька. — Он мой.

— Если ты не хочешь, я не буду, — ответила Катюха. — Я буду дым от земли отгонять...

И она стала щепочкой пересыпать с места на место земляную пыль. Катюхе недавно исполнилось пять лет.

Рота курсантов из пехотного училища прошла по улице на полевые занятия. Над плечами курсантов качались фанерные мишени — силуэты немецких касок. Джек зарычал.

— Это же свои! — сказал Петька. — Как тебе не стыдно? А днём Джек насмерть перепугал почтальона, который всегда пользовался их двором, сокращая себе путь. Это был хмурый, медлительный старик. Когда его спрашивали, нет ли письма, он будто бы не слышал, смотрел прямо перед собой, скривив морщинистые губы. Или отвечал быстрым и шепелявым говорком: «А с того света телеграммку получить не хочешь?.. Кабы было письмо, так сам сказал. Надоели вы. Каждый спрашивает...»

И уходил, тяжело опираясь на тонкий стальной прут с никелированным шариком от кровати вместо набалдашника. Он ничем не мог помочь людям и от этого, наверное, ожесточился.

Когда почтальон пробирался через огороды, Джек ровными большими прыжками догнал его, повалил и стал трепать клыками сумку с почтой. Старик закрыл лицо руками, штанины на его синих ногах задрались.

Петька, задыхаясь, подбежал, схватил Джека за шерсть на шее и стал оттаскивать в сторону. Джек рычал, но Петьку послушался и сумку отпустил. Только тогда старик всхлипнул, с трудом сел на землю и заплакал.

— Участковому!.. Участковому!.. Сумка-то!.. Сумка!.. — сквозь всхлипывания, всё громче и надрывнее вопил он. — Имеешь собаку — привязывай!.. Черти эвакуированные...

Подошла Антонида, упёрла руки в бока, засмеялась, сказала ласково:

— Брось, деда, сердиться... Страх забудешь, а ранения твои до свадьбы заживут... Детям-то собака в утешение... — И опять расхохоталась.

— Помоги встать, — прохрипел старик.

— Он больше не будет. Не будет! Не будет! — шёпотом закричал Петька. — Не надо про нас в милицию, не надо! — Он закусил кулак и затрясся. Опять всё онемело вокруг него, закачалось и поплыло.

Старик долго стоял, глядя на Петьку, на спокойно лежащего Джека, на Антониду. Наконец вздохнул, покачал головой, сказал негромко, думая о своём:

— Женщина от человека уходит, а собака — никогда... Вот оно как бывает... А пса привяжите всё одно...

— Сними верёвку бельевую, — сказала Антонида Петьке, когда старик ушёл. — С крайнего карагача сними, где моё одеяло висит. И привяжи, кавалер, зверя своего на эту верёвку.

И Петька привязал Джека. Тот очень удивился, стал рваться и скулить, а потом вдруг тихо лёг

и посмотрел на горы грустными глазами. Он, конечно, мог одним настоящим рывком сорвать с шеи верёвку, но, наверное, ему было неудобно это делать перед маленьким мальчишкой, который сидел рядом и гладил и чесал его. Но, как только Петька куда-то ушёл, Джек стал пятиться задом и стащил петлю через голову, встряхнулся и убежал.

Петька весь день ждал его, но пёс не возвращался. Наступил вечер, стемнело. С гор повалились в долину тяжёлые дождевые тучи. Петька всё сидел на пороге и высматривал Джека. Дверь в комнату качалась и скрипела под напором влажного ветра. Мать сердилась. Когда загремел гром и над дальними тополями начали ломаться молнии, мать дала сыну подзатыльник и захлопнула дверь наглухо. Они сидели в мутной темноте — экономили керосин — и всё не решались почему-то ложиться спать, слушали, как на стекле окна лопаются дождевые пузыри.

Где-то очень далеко отсюда — на фронте — всё ещё наступали немцы. Петькин отец всё отступал перед ними, и от него давно уже не было писем. И ещё шёл этот равнодушный дождь, и гром тралал, как бомба. Будто они опять попали в Ленинград и была воздушная тревога.

Вдруг кто-то поскрёб к ним в дверь и шумно задышал. Мать вздрогнула, зажгла спичку и притеплаила лампу. А Петька сразу догадался, что это Джек, и открыл дверь.

Пёс сидел у порога совершенно мокрый и размазывал хвостом жидкую грязь. Короткая шерсть на его ушах слиплась, уши опустились, и Петьке показалось, что Джек облысел.

— Можно я его впущу? — спросил Петька. — Он совсем мокрый, мама...

Мать промолчала, и Петька решил, что, значит, можно.

— Иди к нам, собака, — позвал Петька.

Джек продолжал сидеть, но весь как-то зашевелился и ещё сильнее принялся размазывать хвостом глину.

— Он не верит, что его приглашают в комнату, — тихо сказала мать. — Наверное, его никто никогда не пускал в дом. Он дикий горный пёс.

— Иди, иди, не бойся! — сказал Петька, протягивая к Джеку руку.

По руке ударили дождевые капли, и брызги полетели Петьке в лицо. На улице скрипели и стонали деревья и густо шуршал в кукурузе дождь. Нигде не было видно огней.

Джек оглядел себя, словно сокрушаясь, что он такой мокрый и грязный, потом нерешительно шагнул в дом. Он сразу же сел — у самых дверей, скособочив зад и прижавшись спиной к косяку. Сильно запахло псиной.

Мать подвыпустила фитиль лампы. Стало светлее и веселее.

Джек остался у них ночевать. А утром потихоньку открыл дверь и ушёл. У порога ещё долго чернело сырое пятно на земляном полу.

В городке не было дров. Маленькие кучки саксауловых щепок продавали на базаре за большие деньги. Местные мальчишки лазали по деревьям, спиливали и обламывали сухие ветки. Это была тяжёлая и опасная работа.

Однажды и Петька попробовал залезть на шелковицу. Уже в метре над землёй его ступни свело судорогой, привычно закружилась голова, и мир вокруг онемел. Он упал, расшибся и больше не пытался лазать.

Когда нечем было топить таганок, Петька ходил на железнодорожную станцию, выклянчивал у какого-нибудь машиниста угля. Если никто не давал, он собирал кусочки антрацита на склонах насыпей. А изредка просто воровал уголь с платформ. И в этот раз ему удалось насыпать целую соломенную корзинку жирного карагандинского угля.

Было очень жарко. Раскалённые камни и песок обжигали босые ноги. Петька нёс корзинку с углем на спине и старался ставить ноги только на пятки. Он вспотел и устал. Джек бежал по другой стороне улицы и нюхал столбы, заборы и мостики через арыки.

Уже недалеко от дома Петька наткнулся на всю шайку своих врагов.

Шайка сидела, опустив ноги в арык, и смотрела в небо. В небе тренькала пила, и долговязый Сашка раскачивался на пирамидальном тополе у самой его вершины — на высоте пятого этажа. Сашка выделывал сложнейшие трюки, чтобы не попасть под медленно склоняющуюся набок, подпиленную сухую верхушку.

Петька едва не проскользнул мимо незамеченным, потому что все мальчишки смотрели на эту верхушку и на провода, мимо которых ей следовало пролететь. Но Сашка успевал не только пилить, выделывать всякие головокружительные штуки и ругаться. Он следил и за всем, что происходило внизу.

— Вонючка! — заорал Сашка. — Держи его, пацаны!

Мальчишки вскочили, как кузнечики. Им порядочно надоело сидеть задрав головы. Им настала пора развлечься. Они мигом окружили Петьку и задумались. Киргизёнок свирепо поковырял в носу и сказал:

— Пускай на тополь лезет! Он всегда не лазает!

— Я не могу, — прохрипел Петька. — У меня судороги.

— Вы слышали, пацаны, у него судороги! — ехидно засмеялся Косой и выудил пальцами ноги камень из арыка. — Судороги оттого, что антрацит ворует!

— Люди на фронте кровь мешками проливают, а он ворует! — поддержал Косого толстый Васька Малышев.

Петька бросил корзинку и прижался к камышовому забору. Слезы текли по его испачканным угольной пылью щекам.

— Распустил сопли, — с удовлетворением сказал киргизёнок и сдёрнул с Петьки трусы.

Старая резинка лопнула. Трусы съехали Петьке на колени.

— Садись теперь в корзину! — взыв от восторга и собственной находчивости, предложил Васька Малышев.

В круг молчаливо и деловито протиснулся Джек. Он заждался Петьку и пришёл теперь его навестить.

— Джек, взы! — крикнул Петька с мольбой.

И пёс понял. Как всегда, без лая он прыгнул на Ваську и сшиб его ударом груди. Потом хватанул Косого за ногу чуть ниже колена. Косой тонко заверещал и упал в арык. Шустрый Анас метнулся на камышовый забор, и клыки Джека хватили только воздух в сантиметре от его пупа. Было слышно, как тяжело шлёпнулся киргизёнок в заросли ежевики по другую сторону забора.



И всё стихло. Лишь в вышине — на верхушке тополя — бессердечно хохотал над своими же друзьями Сашка.

Джек сел у Петькиных ног и высунул язык. Ему было жарко. А Петька не стал задерживаться. Он подхватил корзинку и, придерживая другой рукой трусы, побежал. Джек всё равно не торопился. Он миролюбиво обнюхал своих поверженных, вздрагивающих противников, потом подошёл к Сашкиному тополю, поднял ногу и сделал свои дела. И только-после этого он умчался за Петькой.

Для Петьки наступило новое, спокойное время. Теперь ему ничего не стоило пойти, например, к базару, чтобы повыпрашивать урюка или посмотреть на ишаков. Он часами мог сидеть и смотреть на них. Петьке ишаки очень нравились. Они были всегда такие грустные и задумчивые. Стояли неподвижно, только шевелили длинными ушами да время от времени вздыхали белыми животами. Петька приносил им арбузные корки и пучки травы. А Джек в это время шлялся по базару, высматривал, что бы можно было стащить, или тоже сидел рядом с Петькой и смотрел на ишаков. Они его не раздражали. Другое дело верблюды. Как только Джек замечал верблюда, он сразу выходил на дорогу и ложился.

Верблюд, качая оглоблями тележки и пуская себе на колени слюну, с достоинством вышагивал по самой середине дороги. Киргиз-погонщик дремал на поклаже. Горячая пыль лениво поднималась из-под ног верблюда.

А Джек лежал на дороге и ждал.

Верблюд подходил к нему и останавливался.

Киргиз просыпался и лупил по облезлому заду корабля пустыни алычовой палкой. Звук был глухой и жирный. Верблюд крутил коротким хвостом, мотал слюнявой головой и наконец шагал прямо на собаку. Джек притворялся испуганным, взвизгивал, отскакивал и опять ложился посреди дороги, вывеся язык и поводя боками.

Язык обозначал его стремление к миру. Ведь никакая собака не станет лежать вывесив язык, если в её сердце есть злоба.

Погонщик замечал пса, который показывал ему длинный, ярко-красный язык, и начинал сердиться ещё больше. Верблюд опять шагнул на Джека. И тут начиналось... Джек рыжим огненным клубком метался вокруг верблюда и кусал его. Правда, не всерьёз, не до крови, а только так — чтобы сбить с корабля пустыни спесь.

В такие моменты Петька удирал подальше...

Ещё они стали частенько ходить на речку. Она называлась очень интересно и коротко — Чу. Это был стремительный поток ледяной воды.

Джек сразу лез в воду и грудью сдерживал её напор, хватая зубами пену. С металлическим лязгом сталкивались его клыки, а бешеные водяные струи мотали и рвали пушистый хвост пса. Наверное, Джек пришёл в городок откуда-нибудь с гор. Он совсем не боялся ни грохота, ни пены горного потока, ни камней, которые несла река. А другие псы боялись.

После купания он тряс своим тяжёлым, плотным телом, ложился на горячую гальку и смотрел туда, откуда неслась река, — на горы. Около него галька делалась радужной и блестящей. И Джек изредка опускал голову и лизал мокрую гальку.

А Петька тем временем бродил под берегом речки и собирал ежевику — чёрную, с жёсткими маленькими косточками ягоду. Он ел её и давал есть Джеку. Пёс морщился, тряс головой, тёр себе морду лапами, но всё-таки ел. И язык у него делался фиолетовый, как чернила.

Мальчишки при встречах перестали обращать на Петьку внимание. Они презирали его молча, на расстоянии.

Так прошёл месяц.

Мать видела, что сын стал оживать. Теперь он не сидел один в углу комнаты, уперев лоб в стенку. Привычка так сидеть появилась у Петьки в Ленинграде, когда многие часы длились воздушные тревоги, в убежище тяжело дышали люди, с потолка при каждом, даже дальнем взрыве сыпались белые чешуйки штукатурки. В те времена Петька и привык сидеть, уперев голову в стенку и закрыв глаза. Он и здесь, в тылу, сперва всё сидел так. И боялся выйти на улицу. А Джек вытащил его к свету, к солнцу, к реке. И Петька стал оживать.

Однажды он пришёл и сказал, что ежевика так называется от слова «ёж». У неё ветки с шипами, колючие. И ёжик колючий. Вот её и назвали.

Мать заплакала.

— Ты чего? — спросил Петька.

— Так... Просто так...

— Я, пожалуй, буду теперь спать на крыше, — сказал Петька. — Мы будем там спать вместе с Джеком. Можно?

— Уже осень наступает, Петя, холодно... Скоро тебе в школу записываться, — сказала мать.

— В школу?

Петька уже забыл, когда он ходил в школу. Это было ещё до войны. Они ходили вместе с Витькой, сыном дворничихи тётки Маши, и на уроках потихоньку от учительницы играли в

фантики... И вдруг Петька почувствовал, что ему хочется пойти в школу. И хочется попасть в один класс с Сашкой, что ли... Это было странно, но это было так.

— Я схожу запишусь, — сказал Петька. — А на крыше можно спать?

— Ну спи пока...

Крыша была плоская, глиняная. Глина рассохлась. По всей крыше змеились трещинки. Ветки карагачей и шелковицы были отсюда непривычно близки и доверчиво совали свои желтеющие листья прямо Петьке в нос.

Они с Джеком лежали укрытые одним тряпичным одеялом. А по ночному небу медленно тёк Млечный Путь. На вышках у пехотного училища перекликались часовые. Когда где-нибудь лаяла собака, Джек вскакивал, сдёргивал с Петьки одеяло и рычал. Если Петька стонал во сне, пёс лизал его шершавым, тёплым языком. И Петька, просыпаясь, чувствовал на губах пресный вкус собачьей слюны.

Утром, когда собирались на работу взрослые, Антонида выпускала на двор свою Катюху. Над городом плавал туман, и повлажневшее одеяло холодило Петькины плечи; Джек убежал на прогулку, бесшумно и ловко прыгая с крыши. А Петька долго ещё лежал, рассматривая горы. Вершины их в хорошую, ясную погоду казались ему жёсткими и тяжёлыми, как железо, а в хмурую — лёгкими и мягкими, как углы у подушек. И Петьке хотелось рассказать кому-нибудь про это. Но мать начала работать, и виделись они только поздно вечером.

Его тянуло к сверстникам. Однако он знал, что те только и ждут подходящего момента разделаться с ним. И пёс становился для Петьки чем дальше, тем дороже и необходимее.

Их дружба нравилась и матери, и глухой старухе, и Антониде. Даже старик почтальон сменил гнев на милость и часто задерживался передохнуть возле их дома. Джек признал старика своим и вместе с Петькой подходил к нему.

— Сегодня не смотрите, сегодня нет вам никаких писем, — бормотал почтальон. — Но это ничего... Ещё придёт вам конвертик. Ещё из-под самого Берлину для вас письмо принесу... Всё будет... Всё...

Потом трогал Джека за ухом кончиком палки, тяжело, с натугой вздыхал, поднимался и брёл дальше по своим почтовым делам.

Как-то уже поздней осенью, когда травы утром тяжелели от инея, стручки акаций почернели и раскрылись, а снега на горных вершинах опустились до первых отрогов, Петька решил приучить своего пса ходить в упряжи и таскать за собой лист фанеры.

Джек никакого желания залезть в ярмо не испытывал. Это было верблюжье, а не его дело. У Джека сразу начинал почему-то чесаться живот, когда Петька прикреплял к его ошейнику верёвочные постромки. Он чесал живот сперва одной, потом другой лапой, потом начинал трясти головой, валяться на спине и махать в воздухе всеми четырьмя лапами.

Безухая сука смотрела на всю эту кутерьму через щель в заборе, подвывала и скребла когтями землю. Она издевалась над Джеком за то, что он — такой большой и сильный пёс — слишком много позволяет маленькому паршивому мальчишке.

Потом вышел из комнаты Антонида высокий сержант в короткой куцей шинели, с вещевым мешком на плече. Его правая рука висела на груди, прихваченная грязной косынкой. Сержант

остановился в воротах, чтобы понаблюдать за Петькой и Джеком.

Когда пёс начинал валяться по земле и болтать в воздухе лапами, сержант сплёвывал, целясь в черепок разбитой тарелки, и криво усмехался. И Петьке показалось, что военный смеётся над ним, над тем, что он не может справиться с собакой. Петька рассердился и пихнул Джека в мягкий бок носком ботинка. Он не хотел ударить сильно, но пёс от боли даже взвизгнул. Потом ощерился, зарычал и, оборвав построики, убежал.

Петька кричал ему вслед всякие ласковые слова, но Джек не слушал и не возвращался.

— Ну-ка иди сюда, — сказал сержант Петьке, опуская свой мешок на землю.

— Чего вам? — угрюмо спросил Петька.

— Поближе, так лучше разговаривать.

Петька подошёл. Он увидел жжёные дыры в полах солдатской шинели и услышал запах махорки, ремённой кожи, влажного сукна. В глаза сержанту он не смотрел — было стыдно.

— Батька воюет? — спросил сержант. — Достань отсюда, — он показал на карман штанов.

— Чего достать?

— Кресало! — с раздражением сказал сержант. Щека его мелко задрожала. Он придержал её рукой.

— Контузия? — спросил Петька, вытаскивая трут и кресало.

Сержант молчал. Он вошёл сюда — на тихую улицу далёкого тылового городка, в тишину облетевших деревьев, во двор, где мальчишка играл с собакой, — и напомнил о той войне, которую только что начал забывать Петька.

— Да. Контузия. Дрожит всяк раз от нервов, — стараясь говорить спокойно, наконец объяснил он.

— Вам чего ещё? — спросил Петька.

— Пёс у нас был. Стёпкой звали. Похож очень на твоего, — сказал сержант, раскручивая трескучую махорку.

— Джек! Джек! — закричал Петька, увидев что-то оранжевое в кустах возле забора.

— Обиделся он, — сказал сержант.

— Ага, — сказал Петька.

Сержант быстрыми затяжками докурил махорку, плюнул на пальцы и затушил окурок.

— Я вот и думаю, очень даже ребята в роте обрадуются, если я им твоего Джека привезу. А ты его и не любишь вовсе... Вон как в пах звезданул!

— Что? — спросил Петька, ещё не понимая, чего хочет от него солдат.

— И собака воевать может, — сказал сержант. — Стёпа троих человек из боя вытащил, спас.

Раненых. Понял? Приведи Джека к вечернему поезду. Я тебе всю сотнягу не пожалею.

Он потянулся за своим мешком, но, увидев Петькино лицо, остановился, цепко взял Петьку здоровой рукой за плечо, встряхнул, близко заглянул в глаза:

— Очень ребята рады будут. Вся рота. Однако не настаиваю. Твоё это дело.

И ушёл. И вместе с ним ушёл запах сыромятной кожи, непросыхающего подолгу сукна, окуренных махорочным дымом пальцев. Петька знал этот запах. Он помнил разрушенный полустанок где-то уже за Ладогой — под Тихвином. Молчаливый серый строй солдат вдоль железнодорожных рельсов. Мешки у их ног. Колючий с ветром снег, промозглый холод. Своё тупое, голодное отчаяние, свою протянутую руку и: «Дяденька, дай чего... Дай, а дяденька...»

Его втащили тогда в середину строя. Там не было ветра и снега. Там было теплее и пахло так, как от этого сержанта. Ему дали большой кусок настоящего сахара — крепкий, корявый и тяжёлый, как осколок зенитного снаряда...

Весь день Петька просидел дома, уперев лоб в стенку, — так, как сидел раньше. В комнате было тихо, одиноко и только кружились и жужжали под низким покатым потолком мухи.

Он думал о войне — о тёте Маше, отце, немцах, сгоревшем доме; о долговязом Сашке, других мальчишках, о себе и Джеке, о чёрной курице, Катюхе и почтальоне.

Когда в комнату заползли вечерние сумерки, Петька встал, будто очнувшись от сна, и вышел на улицу. Джек сразу бросился к нему и завил хвостом. Он уже забыл про обиду. Потом пёс улёгся возле арыка, и его пушистый хвост свесился в воду и стал болтаться по течению.

— Джек, дорогой, — сказал Петька. — Вынь, пожалуйста, хвост из воды...

Пёс пошевелил ушами и улыбнулся.

Петька кулаком протёр глаза. Вечерело. Снега на вершинах гор синели. Голые, как старые веники, стояли тополя. Растрёпанные вороньи гнёзда чернели в развилках стволов. На макушках тополей, отгибая тонкие веточки, качались вороны, каркали и шумно били крыльями похолодевший воздух.

Вернулась с работы мать, спросила:

— Ты чего такой, а, Петь? И Джек какой-то кислый... В кастрюльке она принесла обед. Джек понюхал кастрюльку, лизнул матери руку.

— Я его ударил днём, и он обиделся, — спокойно сказал Петька. — А теперь ничего. Уже забыл, наверное. Ты носи суп, а то остынет... Мне тут ещё надо на станцию сходить... Пойдём, Джек!

Петька пошёл по дорожке вдоль тополей. Он сжал кулаки и сильно размахивал ими. Он решил не оборачиваться и не звать больше своего пса. Если он пойдёт за ним сейчас, то... Если нет...

Джек лежал насторожив уши и ждал, когда Петька обернётся и засмеётся или засвистит. Что-то необычное почуял в его голосе пёс. И мать почувствовала. И мать и собака смотрели, как шагает по пустынной дорожке хохлатый маленький Петька, странно размахивая зажатými в кулаки руками.

Он всё не оборачивался. Он боялся обернуться. Джек чуть слышно, утробно заскулил и

перевёл взгляд на мать.

— Ну, что же ты лежишь? — спросила она. — Тебя зовут, а ты лежишь...

И Джек встал. Он не побежал, а только пошёл за Петькой, низко опустив тяжёлую лобастую голову.

У станции было много людей, и здесь Джек догнал Петьку и ткнул холодным носом его руку. Петька обхватил пса за голову.

— Так нужно, Джек, — шептал Петька. — Так нужно... Если б я был большой, мы бы уехали вместе... Джек, Джек!

Пёс ничего не понимал. Он стоял и повиливал самым кончиком хвоста.

Вокруг торопились куда-то люди, шаркали сапогами, тащили тяжёлые узлы, перекликались тревожными, уезжающими голосами. Они поругивались, обходя мальчишку и большущего рыжего пса, на клыки которого было боязно смотреть.

Петька поцеловал Джека в морду и, ощутив знакомый пресный вкус на губах, заплакал. От горя и слёз Петька плохо видел. Фонари на перроне горели в огромных радужных кругах. Говор и крики волнами перекатывались вдоль состава. И только у последних вагонов поезда — простых теплушек — было спокойнее и тише. Здесь пахло солдатами и стучали по камням стальные затыльники винтовочных прикладов.

Кто-то положил Петьке на плечо тяжёлую руку, и Петька сразу сунулся лицом в шинельную шершавую полу. Так Джек часто совался ему самому в колени. Сержант осторожно потискал его худые плечи, сказал мягко:

— Пришёл, значит... Деньги-то возьмёшь?

— Нет. Не надо, — сказал Петька в шинель.

— Ты прости, что говорю про это... Время такое. Разные люди-то бывают... Прости, пацан, а?

— Его обязательно убьют? — спросил Петька.

— И нас убивают, да разве в этом дело? — сказал сержант и достал ремень. — Пущай они нас с тобой, парень, победить попробуют!.. Привяжи ему ремешок.

Петька торопливо сел на Джека верхом и прикрепил к ошейнику ремень. Джек не сопротивлялся. Он ошалел от гама и движения вокруг.

Когда поезд ушёл и Петька возвращался домой, его побили мальчишки. Они толкались возле единственного в городе кинотеатра. Петька пробрёл мимо и не заметил ни скудных огней рекламы, ни знакомых лиц ребят из шайки. Те следили за ним до тёмного переулка.

От первого же удара Петька упал. Он хотел сразу подняться, но сверху навалилась шевелиющаяся груда тел. Петька, стиснув зубы, шарил по земле, пока не нашёл камень, и тогда ткнул кому-то камнем в лицо.

— Все на одного! — прохрипел Петька, в остервенении размахивая руками, и поднялся на колени.

Его ещё несколько раз ударили, но уже как-то вяло и неуверенно.

— Эх, вы! Эх, вы! — шептал Петька, задыхаясь. Ноги и руки у него тряслись.

Мальчишки стояли вокруг гурьбой и удивлённо молчали.

Городок засыпал. Над чёрными вершинами гор вспыхивали голубые звёзды. Холодный ветер шевелил на Петькиной голове хохлы.

— А где твоя собака? — угрюмо спросил наконец Сашка и сплюнул кровь с разбитой губы.

— Там, где тебя не было, понял? — сказал Петька. — Там, где я был, а тебя не было! На фронт Джек уехал!

— Айда, пацаны, по домам, что ли? — нерешительно спросил Косой, почёсывая укушенную когда-то Джеком ногу.

И вдруг Сашка засмеялся:

— Ну он там и даст фрицам, этот пёс!.. А ты голову в арыке помочи, тогда меньше болеть станет. Вода ужас какая холодная...

— Сам знаю, — сказал Петька.

Михаил Николаевич Сосин

Пять ночей

Из барака меня взял косой Эрих. Пленные сидели на нарах, когда он вошёл, остановился у входа и смотрел, ничего не говоря. Стало тихо. Указательный палец его вытянутой руки медленно пошёл слева направо по лицам пленных; за пальцем невольно опускались головы. На мне палец застыл: «ду».

Я не спешил... Эрих ждал и, пропустив меня, пошёл сзади, насвистывая: «Марианна, хаст ду блонде хааре...», подталкивая меня в спину своей проклятой тросточкой.

Никелированная, тонкая, не толще шомпола, она оставляла кровавые отметины на головах и спинах пленных.

Эрих зря не придёт. Нетрудно догадаться, куда вёл меня Косой. Я видел вопросительные, тревожные взгляды пленных. Многие отворачивали лица.

Мне показалось, что Андрей безнадежно махнул рукой, когда я проходил мимо.

Асфальтовый дворик окружён высоким каменным забором. Я посмотрел на небо: по нему плыли лёгкие облака, настоящие летние. Может быть, они плывут из Москвы?

В аккуратном домике чистый, будто в больнице, коридор. В конце — дверь. Вот туда-то и втолкнул меня Эрих.

За столом сидел Беккер. Он был хорошо выбрит и, как всегда, в перчатках. Его тонкие губы на худом бабьем лице плотно сжаты.

Беккер молчал. Я не смотрел на него, и, по-моему, он не смотрел на меня. В комнате был стол,

два стула и лампочка над дверью — вот и всё. Дверь двойная, обита клеёнкой.

Я смотрел в угол, вправо от Беккера.

Крепко сжал зубы, унимая противную дрожь.

Вдруг он встал, прошёлся по комнате и остановился близко, почти касаясь меня твёрдой кобурой пистолета на ярко-жёлтом блестящем ремне.

— Я имею три вопроса... Ерст: дилинбургский завод три дня не работал для фронт. Кто сломал машин на электростанции? Цвайте: кто и чем делал ключ от двери? Дритте: расскажешь всё, получишь у шеф-кох Ивальд большой круглый котелок картошки и кусок колбаса. У меня есть сведений — ты всё знаешь.

Он сел за стол, я молчал, глядя в угол. Сегодня он намного злее обычного.

— Я не гестапо и не эсэс, я офицер, но тебе будет плохо. Бить палкой по голове, как дурак Эрих, — нет! Я из хорошей семьи и жил в Руслянд. Говори — я жду. Садись.

Какие-то ненужные мысли путались в голове. «Наверно, уже раздадут баланду?» Перед глазами унылое лицо Андрея и его рука, прочертившая в воздухе выразительный жест. Наверно, они боятся, что выдам... Я взглянул на Беккера.

— Хочешь курить? Я кивнул.

Он вытащил из нагрудного кармана сигарету и дал мне. Я затянулся. Трава травой, но голова пошла кругом.

— Ну?!

Я молчал.

— Ты не выйдешь из этой комнаты, пока не скажешь или не напишешь. Вот тебе бумага и карандаш. Я приду через час.

Он вышел. Вошёл Эрих, сел за стол и, не обращая на меня внимания, засвистел, стуча в такт руками по столу. Потом он снимал пылинки с мундира, долго и аккуратно. Был он тощ и бледен. Чёрная повязка наискось — память русской зимы 1941/42 года.

Эрих взглянул на часы и начал есть бутерброд. Колбаса была красная, как запёкшаяся кровь. Никогда раньше я не видел такой колбасы. Из чего они её делают? Он ел нудно, долго и потом докурил кусочек сигары из вонючей травы. Мне опять захотелось курить. Есть уже давным-давно не хотелось, с начала плена. Была только боль в желудке и слабость.

Пришёл Беккер. Эрих вышел. «Так! — он посмотрел на чистый лист бумаги. — У меня время есть, и ты напишешь или расскажешь».

Он постоял около меня, покачиваясь на носках, и снова вышел. Опять вошёл Эрих. И опять сидел и свистел, а лист бумаги по-прежнему лежал на столе, то приближаясь, то отдаляясь белым пятном.

Беккер шутить не любит.

Костю по его приказанию расстреляли на глазах у всего лагеря за попытку к бегству, а

Морозова отправили в страшные каменоломни за то, что он залез в подвал с солдатской картошкой. А сколько пленных он отправил в ад эсэсовских лагерей, откуда не возвращаются. И всё это он делал спокойно и «чисто».

А собака Лорд, с которой он, Беккер, не расстанется! Высокий чёрный датский дог. Особенно страшной была его огромная голова, мрачная и злобная. Остальные лагерные псы при виде её скулили и поджимали хвосты. Лорд особенно ненавидел пленных — результат специальной дрессировки. От его гладкой кожи не пахло псиной. Беккер каждое утро сам чистит его пылесосом; пёс никогда не пройдёт по луже — обходит стороной.

Одно движение беккеровского пальца — и страшные клыки в тощем теле пленного, и не дай бог свалиться — сразу у лица его пасть. Все хорошо знали: пошевелишься — и зубы в горле. Так навсегда остался калекой со свёрнутой шеей Венька Щёголев, ленинградец. Он плюнул в лицо Беккеру, когда секли Морозова перед отправкой в каменоломни.

Я сидел на стуле, когда снова вошёл Беккер и посмотрел на чистый лист.

— Эрих раус!

Одноглазый пулей выскочил.

— Лорд райн!

Я вздрогнул и встал со стула.

В комнату с рычаньем ворвался Лорд. Он сразу заполнил всю комнату.

Я прижался к стене.

— Ду, швайн. Побудешь с ним. Щёлкнул замок.

Пёс стоял весь напружинившийся, готовый к прыжку. В его глазах под нависшим лбом вспыхивали зелёные огоньки. Я плотно припечатался к стене, руки крепко прижал к телу. Первые секунды всё было как в тумане — дико и страшно.

Прошло какое-то время. Пёс смотрел на меня пристально, глухо рыча.

Я пошевелил рукой, и он сразу рванулся. Я замер.

Опять мы неподвижны друг против друга.

Заныла поясница, её словно прокалывали острыми иголками, руки стали тяжёлыми. Я видел неширокую сильную грудь, мощные ноги с проступающими под гладкой кожей жилами, несимметрично большую голову, острые, как у рыси, уши, отвисающие щеки и огромную полуоткрытую пасть, заполненную синеватым языком.

Надо смотреть ему в глаза, говорил я себе. Было трудно это сделать и страшно, но ничего не оставалось. Я заставил себя посмотреть в зелёные глаза зверя. Наши взгляды скрестились. Теперь я смотрел до боли, стараясь не мигать. Он тоже не отводил свои налитые злобой глаза.

Поясницу и пятки прошивало раскалёнными гвоздями. Я смотрел безнадежно. Время остановилось. Как изменить положение тела, немного ослабить напряжение, ведь пёс мог броситься при малейшем движении.

Я решил смотреть до смерти. Стало жарко. Кто-то говорил, что собака боится взгляда человека, или, может быть, я читал где-то об этом, не знаю (хоть немного ослабить напряжение...).

Вдруг стало холодно, заболело правое колено. Пёс зарычал, обнажая клыки, но я не отвёл глаз.

«Мигни, мигни, глаза!» — беззвучно шептал я про себя, повторяя эти слова всё время.

Может быть, у меня не хватает воли? Или немецкому псу не передашь мысль по-русски? Но я всё же продолжал говорить про себя непрерывно и даже начал шевелить губами.

Вдруг он мигнул. Это мгновение. Но оно имело свою протяжённость.

В этот миг я инстинктивно сполз по стене вниз, наверно, на вершок. Получилось это произвольно, как от удара.

Пёс открыл глаза, но я уже замер.

Опустить бы на пол, тогда можно дать телу покой. Я понял, пёс не бросится, пока я неподвижен, в любом положении, в скорченном, сидячем, но только неподвижном. Я ждал. И он снова мигнул.



Ещё отрезочек вниз, плотно по стене. Стало тяжелее, поза неудобна — на весу. Теперь ломило колени. Силы были на исходе.

Секунды, десятые и сотые доли их казались стальными прутьями, тупо воткнутыми в тело.

Лампочка над дверью превратилась в ослепительное солнце.

...Так же, как два с половиной года назад, когда в жаркий летний день при ослепительно ярком солнце наш взвод, растянувшись цепочкой, осторожно вошёл в редкий бугристый лесок и сразу наткнулся на немцев. Из окопчика на бугорке торчали их чёрные каски, нас не ожидали.

Пулемётчик зашёл сбоку и ударил по окопчику вдоль. Немцы пытались выпрыгнуть из ямы, но пули настигали их.

Но вдруг со всех сторон ударили их пулемёты. И били они густо и беспощадно. Люди расползались, ища укрытия, но редкие деревья и трава не защищали. Лесок простреливался вдоль и поперёк.

Мы до боли вдавливались в землю. Среди пулемётного шума, посвиста пуль и треска срезанных веток раздавались тихие стоны и проклятия. Я пополз на середину прогалины — там был куст и низина. Двое, тяжело дыша, ползли за мной. Один волочил раненую ногу. Всё... Нас трое.

Огонь утих, мы прижались друг к другу. Было жарко, душно, нестерпимо хотелось пить. Из-за деревьев замелькали грязно-зелёные мундиры, послышался лающий говор. Мы ещё теснее сжались и стали отстреливаться.

Мундиры всё ближе и ближе: кругом, везде. Приближаются, выбрасывая поток пуль перед собой. Вот из-за кривой сосенки показался край каски, и дуло автомата нацелилось прямо на меня. Я поднимаю «ТТ», рывком нажимаю спусковой крючок, патрон уткнулся в патронник; волнение вдруг пропало, стало просто и покойно. Сломал веточку, стал поправлять патрон, как будто впереди много-много времени — длинная секунда. Я и он выстрелили одновременно. По правому плечу больно ударило, всё завертелось в оранжевом тумане. Тысячи горячих раскалённых солнц придвинулись к лицу. Рот наполнился чем-то солёным...

Надо мной склонились чёрные каски, бледные лица.

— Рус! Жив?

И голос издалека:

— Он только ранен...

Меня поворачивают, бинт плотно ложится на рану. Меня несут на шинели...

...Должен же он ещё мигнуть. Я ждал. И пёс мигнул и даже отвернулся. Я опустил на большой отрезок. Теперь я сидел на корточках, но пёс не мигал больше. Сколько времени прошло? Согнувшись в три погибели, я со злостью смотрел в волчьи глаза. Капли пота щекотали брови и кончик носа. В щиколотках — невыносимая боль, сил уже совсем не было. Пёс зевнул.

Как во сне, я почувствовал пол. Мышцы обмякли и расслабились.

Может быть, я спал, скорее, дремал. На высокой белой горе стоял Андрей и махал варёной телячьей ногой. Я пополз к нему. Он стал спускаться бегом навстречу, протянув мне мясо, и вдруг вместо мяса — клыкастая пасть Лорда. Я очнулся. Сколько времени прошло?

Пёс глухо зарычал. Наверное, скоро утро и придёт Беккер. Надо подняться и быть в первоначальном положении, чтоб он ничего не понял.

Я снова упорно следил за псом, вот он дёрнулся и зевнул — вершок вверх.

Опять напряжённая, неудобная поза. Попробовал шевельнуться, но он зарычал, хотя и не так злобно, ещё вершок — и снова я надолго застыл в скорченном положении.

И вот наконец я снова, как вначале, припечатался к стене, руки плотно прижаты к телу. Щёлкнул замок. Вошёл Беккер, собака легла у его ног.

— Ну как, будешь говорить? Я молчал.

— Хорошо, майн либер, посмотрим дальше... Беккер с псом ушли.

Вошёл Эрих. Я сел на стул. Тело болело, особенно поясница и пятки, руки дрожали. Я задремал. Эрих ткнул железной палкой.

— Ауфштеен! — вдруг дико закричал он и засмеялся. Он всегда смеялся, как идиот, невпопад.

Я встал.

Он отвернулся и засвистел «Марианну». Потом вытащил сигарету и закурил.

— Дай покурить.

— Кипу. — Так немцы называли окурочек.

Он тянул её долго, отдал мне маленький огрызок — почти ничего.

Я потянулся к листу бумаги на столе.

Он вытащил из кармана газетный листок, протянул мне и внимательно смотрел, открыв рот, как я завертел окурочек. Я затынулся всеми лёгкими. Всё поплыло... Потом присел на стул.

Эрих ничего не сказал.

Вошёл кривоногий Ивальд с баландой и тонким листочком хлеба. После еды сильнее потянуло ко сну. Я с трудом боролся с дремотой. Прошло много-много времени. Эрих два раза ел свой бутерброд и пил кофе. Два раза приходил Беккер. Оба раза он сидел молча по полчаса, а может быть, и больше и уходил. Его заменял Эрих.

Вечером он выгнал Эриха и снова привёл собаку.

Это была вторая ночь — я и пёс.

Теперь я знал, что делать. Внимательно следил за собакой. Через час он устал и стал мигать, а я рывками, наблюдая за ним, пополз вниз по стене. Глаза его как-то странно изменились. Я ещё не понимал, что в них изменилось, но они были не те. Я гораздо быстрее сползал вниз и уже не боялся его.

Да и глаза собаки были не те.

Часа через два я опустился на пол и дремал по-настоящему.

Он тоже лёг. Иногда он глухо рычал. Почему?

Я начал подъём часа через три вверх по стене рывками.

Он всё время мигал, зевал и отворачивался. Между нами, я почувствовал, протянулась незримая ниточка понимания. Утром, когда вошёл Беккер, всё было как вначале. Я стоял у стены не шевелясь, собака сидела напротив меня.

Мне показалось, что Беккер удивлённо посмотрел на меня. Голодный, истощённый человек не спит две ночи.

У Эриха за целый день я выпросил два окурка. Когда мы остались с псом на третью ночь, я просто сел на пол и заснул, и страшный, всеми ненавидимый пёс, похожий на чудовище, не разорвал меня, зевнул и лёг рядом.

Мне снилась Москва. Я сидел в трамвае, кто-то в кожаном пальто сел около меня, и я проснулся. Я лежал рядом с псом. Он положил мне огромную голову на грудь и спал. Потом мы поднялись. Я встал к стене.

Утром Беккер долго смотрел на меня. Я тоже посмотрел ему прямо в глаза.

На четвёртую ночь мы с псом только и ждали, когда щёлкнет замок. Улеглись и спали вповалку. Я положил голову на его мягкий, тёплый бок. Это было здорово... Я выспался, как никогда.

Беккер не вошёл, а ворвался, бледный и даже без перчаток, а я стоял, плотно прижавшись к стене.

Он долго молчал, на его лице была растерянность.

— Ты будешь говорить, писать?

В голосе неуверенность. Он как будто думал о чём-то постороннем и спрашивал механически. Я стоял ещё три часа, но суп и хлеб мне принесли.

Потом Беккер сказал, что отправит меня в эсэсовские лагеря. Он ходил по комнате взад и вперёд.

Вдруг начал рассказывать, что в детстве его порол отец и всё мерзко и противно — и этот лагерь и свиньи-военнопленные.

— Ты совсем не спал? — вдруг спросил он.

— Нет, ни секунды.

— Ты не думай, что всё кончено, я не дам тебе спать, пока не выдашь всех.

Он подошёл близко и пристально смотрел на меня, ничего не говоря, долго смотрел. Вечера я ждал с нетерпением. Беккера уже не боялся, он просто надоел мне за целый день.

Вечером собаку привёл Эрих. Мы с Лордом аккуратно улеглись и заснули.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как открылась дверь. Мы не успели вскочить. Это был Беккер.

Остальное произошло как во сне. Он не кричал, не ругался, он выгнал пса и долго сидел за

столом молча. Потом сказал хрипло, вполголоса, не глядя на меня:

— Иди...

Он просто выгнал меня в лагерь, ничего не сделав. Я пришёл в барак, когда был уже подъём. Все пленные молча окружили меня. Андрей принёс табак.

— На, закури, — сказал он.

На другой день нас, шестерых пленных, погнали на станцию засыпать огромную воронку от авиационной бомбы. Шёл тёплый и густой летний дождь. Мы тяжело месили вязкую, жёлтую грязь деревянными колодками. Конвоиры, нахлобучив капюшоны, уныло брели сзади. У невысокой насыпи Михаил Костюмин и Яковлев лопатами кидали в свежевырытую яму комья осклизлой почвы. Под фанерным навесом сидел конвоир с зажатой меж колен винтовкой.

— Эй, чего копаете?

— Лорда беккеровского хороним. Здоровый чёрт, еле дотащили.

— Подох?

— Пауль-живодёр грохнул его сегодня утром у вахты по приказу Беккера.

— Да ну?

— Ауф, лос! Хальт мауль, — лениво закаркали конвоиры, и мы захлюпали дальше.

Вадим Белорус

Султан

Султана выкормил из соски большой весёлый человек. Он не только кормил и мыл его, но и подтирал за ним лужицы, учил есть из блюдечка, играл с ним, а иногда и шлёпал.

Прошло два года. За это время Султан вырос и превратился в крупного, красивого пса, с шелковистой шерстью. Мускулы его налились силой. Глаза и нюх стали острее.

С первых же дней своей жизни Султан привык больше всего доверять обонянию. Оно помогало ему и днём и ночью отыскивать завалившуюся куда-нибудь вкусную косточку, подсказывало, где сейчас хозяин, кто из знакомых собак сегодня забегал во двор, в каком они были настроении. По запаху всегда можно было отличить настоящую вещь от поддельной, как бы похожи они ни были. Когда его учили отыскивать в квартире спрятанную вещь или в лесу самого хозяина, обоняние всегда верно служило Султану. Он любил гулять с хозяином, особенно по бульварам, но больше всего любил, когда хозяин, придя со службы, говорил:

— Ну, хватит. Всё — к чертям собачьим! За город, Султан. На при-ро-ду!

«За город» — это значило, что можно будет побегать, задрав хвост, по пахучему лугу, полаять всласть. Потом хозяин станет швырять далеко в воду палку, а он плавать за ней раз, другой, третий. Правда, будет и неприятное. Султан терпеть не мог ремней, которые надевали ему на морду. Но тут уже ничего не поделаешь. В жизни часто радости связаны с неприятностями. А поездка каждый раз обещала радостей несравненно больше. Поэтому, услышав знакомое «за город», Султан прыгал, повизгивал, превращаясь на время из солидного пса в шумливого щенка.

— Ладно, ладно, — не суетись! — добродушно увещевал его хозяин. А когда это не помогало, сердито командовал: — Лежать!

И Султан моментально укладывался. За эти годы он вообще многому научился, мог не только отыскать и принести нужную вещь, но и сторожить то, что поручал хозяин. Затаиться и лежать тихо-тихо, пока не будет другой команды. Подавал по знаку голос. Умел, подкрадываясь, ползти на животе, ходить по буму, брать барьеры. А в последнее время хозяин учил его, как с двумя сумками на боках подползти к лежащему человеку, обождать, пока тот достанет что-то из сумки, а затем помогать человеку передвигаться.

Вначале Султан никак не хотел понять, почему нельзя просто подбежать к лежащему, ведь это легче и быстрее. Но раз хозяину нравятся такие правила игры, что ж, он будет их выполнять. Он послушный пёс. «Умница», — говорит хозяин. Султан не знает, что значит это слово, но наверное что-нибудь хорошее, потому что, произнося его, хозяин всегда гладит Султана по голове или треплет за лохматую шею.

...В тот день они тоже собирались за город. Но замешкались. А потом вдруг заговорил ящик, за которым Султан ещё щенком долго и безуспешно искал человека и никак не мог понять, куда он там прячется. Ящик заговорил, и они не поехали. Хозяин быстро ушёл один. Вернулся он только к вечеру в совершенно незнакомой одежде, у которой были какие-то резкие запахи. Он так изменился, что Султан даже не сразу узнал хозяина.

— Вот и пришло нам, Султанушка, время послужить. Сядем на дорожку, — сказал утром хозяин, собрав рюкзак.

Султан задрожал. Уж очень всё было необычно. И вид хозяина, и слова, и, главное, тон, которым они были произнесены. Что-то подсказывало Султану: беда. Он не выдержал, взвизгнул и, нарушая все правила, лизнул хозяина в щёку. И странно — тот не рассердился, не одёрнул его, а только взял сильной рукой за загривок и прижал его морду к своим коленям.

— Значит, и ты разлуку чувствуешь. Ну, что делать, друг? Война!

Он отвёл Султана в здание, во дворе которого оказалось очень много разных собак, попрощался с ним и ушёл.

В специальной школе, куда его отдал хозяин, готовили собак-санитаров. Вот когда пригодилось Султану всё, чему его учили. Очень трудно было привыкнуть к стрельбе, побороть в себе страх и ползти туда, где взмётывались к небу чёрные фонтаны взрывов. Но постепенно Султан привык к шуму боя, и когда попал в настоящую фронтную обстановку, то быстро освоился.

...Уже третью зиму Султан помогал отыскивать раненых. Не одному десятку людей спас он жизнь. Его очень любили в части. А новый хозяин — усатый пожилой санитар, которого все звали дядя Лёша, берёг Султана. Скармливал ему свою пайку сахара, старался уложить его спать в местечко потеплее, за что санитару не раз попадало от капитана медицинской службы Литаева.

Султан тоже крепко привязался к дяде Лёше. Но всё-таки вечерами, особенно когда грелся у костра и дремал, ему снился его первый хозяин. Хотя теперь в воспоминаниях Султана он был похож на дядю Лёшу, Колышкина, Литаева и других солдат и офицеров, которые носили такую же одежду, как и хозяин в тот самый последний день.

Недавно их часть перебросили на новый участок. А вчера вечером дядя Лёша особенно сытно накормил Султана. Кормил и приговаривал:

— Ешь, ешь, запасайся силёнок, завтра пригодятся.

Потом они пошли в ту сторону, откуда доносились выстрелы. Километров через пять Султан уловил знакомый запах. Так пахла коричневая жидкость, которой люди мазали раны. Нюх не подвёл его. Вскоре среди деревьев Султан увидел палатку с таким же красным значком, как и тот, что был на его сумках.



Султана и ещё двух собак привязали у палатки, сняли с них сумки, и они тотчас, свернувшись клубочками, уснули. «Спать надо каждую свободную минуту» — так подсказывал им их фронтовой опыт. «Спать, чтобы в запасе были бодрость и силы, которые могут понадобиться».

Разбудила их канонада. Неподалёку начинался бой. Длился он почти весь короткий зимний день. И почти всё это время они сидели под своей елью без дела, если не считать того, что их дважды покормили.

Часа в четыре, когда бой уже почти утих, пришёл усталый дядя Лёша. Посидел рядом с Султаном, покурил, сунул ему кусок сахара, подождал, пока он его съест. Погладил Султана по голове, почесал ему за ухом и сказал:

— Пошли. Пора работать.

Они двинулись вперёд. У опушки дядя Лёша поправил на Султане сумки, отстегнул поводок и слегка похлопал по спине.

— Вперёд, Султан, ищи!

В густеющих сумерках контуры деревьев и кустов стали расплывчатыми, расстояния казались меньше, но Султан легко ориентировался в этом сером мире. Ноздри его раздувались. Вот он почуял человека, двинулся на запах и вскоре увидел чернеющую на снегу фигуру. Осторожно подполз. Человек лежал лицом вниз. Султан тихонько мордой отрыл его, ткнул носом. Человек был холодный. Проверяя себя, Султан лизнул его щёку. Щека была твёрдой и тоже холодной. Здесь помощь была уже не нужна, и Султан пополз дальше. В кустах приподнялся и, мягко ступая, заскользил вправо-влево, вправо-влево.

Он отыскал ещё две такие же неподвижные фигуры. Наконец, порыв ветра донёс до него непривычный запах. Так пахло то, что дядя Лёша называл — «чужой». Надо было поворачивать назад. В этот же миг рядом просвистели пули. А немного спустя послышался звук пулёмётной

очереди.

Переждав несколько минут, Султан двинулся назад. И тут заметил, как в стороне у одинокого дерева что-то шевельнулось. Раз, другой. Ветер дул в ту сторону, и нюх ничего не подсказывал Султану, но опыт говорил — это человек. Значит, надо быстрее туда. Султан приподнялся, но тут снова просвистела очередь, пришлось свернуть в кусты и ползти между ними.

Цепочка кустарника, изгибаясь дугой, приближалась к одинокому дереву уже с другой стороны. Минут через десять Султан был на противоположном конце дуги. Отсюда оставалось пробежать всего метров двадцать. Султан уже собирался выпрыгнуть из кустов, но вокруг стали рваться мины. Осколок одной из них ударил его по лапе. Султан взвизгнул, но остался лежать. Он знал: сейчас двигаться нельзя.

Наконец миномётный налёт кончился. Султан начал зализывать рану. Наступать на лапу было больно: осколок зацепил кость. Скорее, скорее домой — это было его первым желанием. Султан даже подался в ту сторону, где должен был сидеть санитар, но порыв ветра, который теперь дул к Султану, остановил его. Султан ещё и ещё раз жадно втянул носом воздух. На мгновение он даже забыл о своём ранении. Неужели? Так и есть. Он не мог ошибиться. Трижды с тех пор, как они расстались, Султан издали принимал за хозяина внешне похожих на него людей. Бросался к ним, но, уловив «чужой» запах, понимал — снова ошибка.

А сейчас именно обоняние подало сигнал. Из тысячи других Султан узнал бы этот запах. Дрожь нетерпения пробежала от морды до самого кончика хвоста. Султан взвизгнул и, волоча перебитую лапу, изо всех сил пополз к одинокому дереву.

Было очень больно. Хотелось лечь и, никуда не двигаясь, скулить жалобно и призывно. Но он упрямо полз вперёд. Его вело чувство более сильное, чем боль и страх. Ему казалось, что если он опоздает, то потеряет, и теперь уже навсегда, этого близкого, самого близкого ему на земле человека.

Хозяин лежал навзничь с закрытыми глазами. Но он дышал, он был живым. Султан почувствовал это носом, языком, всем своим существом. Он осторожно тыкал мордой в лицо хозяина, обнюхивал его, лизал. Наконец тот очнулся, открыл глаза и тихо сказал:

— Султанушка. Вот и встретились.

Хозяин достал из сумки бутылку и выпил немного жидкости с резким неприятным запахом. Потом он перевязал ногу себе и лапу Султану, и они поползли туда, где их ждал дядя Лёша.

Борис Степанович Рябинин

Последняя отрада

Наш полк стоял в городе Катовице. Война только что окончилась — самая кровавая и страшная из войн, какие когда-либо бывали на земле. Ещё всё дышало ею, всё говорило о едва утихшем урагане. И разрушенные здания, и невероятная нищета польского населения, бедность, глядевшая изо всех дыр.

Ещё нет-нет да и раздавались выстрелы из-за угла, по ночам в развалинах слышались крики о помощи. Разгромленные в открытом бою, загнанные в щели, как крысы, гитлеровские недобитки, пытались запугать, жгли, убивали.

Четырнадцать собак несли службу в советской комендатуре. Овчарки и одна татра — так

называли местные жители горных чешских овчарок, белоснежных, с закрученной шерстью, охранявших от волков стада домашнего скота, выносливых, исстари привыкших ко всем невзгодам собачьей жизни, неподкупных друзей человека. По образу жизни и повадкам они схожи с кавказскими овчарками.

Наша татра была старая, но ещё сильная и крепкая, необычайно злобная, никого не подпускавшая к себе.

Как сейчас, вижу эту мечущуюся по клетке, исходящую истошным лаем дьявольскую бестию, которую, вероятно, не смутило бы и появление стаи голодных волков. Глядя на неё, всегда думалось: что ей пришлось перенести, почему она стала такой озлобленной?

Даже лай её, сиплый, какой-то простуженный, заставлял задуматься об этом. Прежде чем попасть к нам, татра прошла через многие руки, мыкалась без хозяина, в качестве военного трофея была у немцев. Её били смертным боем, обламывали и укрощали, унижали так, как только можно унижить зависимое существо, но она не сделалась от этого забитой, нет. Она вела себя вызывающе, независимо, показывала такую ненависть и презрение к людскому роду, что, право, порой становилось жутко...

— Колосс Фарнаский, — сказала про неё жена коменданта, переводчица и образованная женщина, усмотрев в её непомерной лютости сходство с теми гигантами древности, которые поражали воображение современников своими размерами.

По странной случайности, это прозвище перешло и на бойца, ходившего за собакой, приветливого парня — косая сажень в плечах, — единственного человека, с которым ещё кое-как мирилась татра.

Колосс Фарнаский... Всякий раз, когда я вспоминаю это выражение, я вижу перед собой эти два существа — большого, добродушного, как ребёнок, советского солдата, на котором все гимнастёрки казались как бы севшими после стирки, а сапоги едва достигали середины голени, и его подшефную псину. Колосс Фарнаский! Если применительно к собаке, прозвище подчёркивало неукротимость и непомерную злобу животного, то по отношению к солдату оно носило скорее иронический оттенок, напоминая о его росте: парень был высоченный, как колокольня.

Однажды перед полковником-комендантом предстал плохо одетый человек. На вид ему было лет пятьдесят — пятьдесят пять. Печать страданий лежала на его лице. Тусклые глаза, потухший взор, в лице ни кровинки. Цивильная одежда с чужого плеча не могла скрыть его страшной худобы. С первого взгляда в нём без труда можно было узнать одного из тех узников фашистских лагерей, тех несчастных, которых Спасло быстрое наступление Советской Армии. Прошедший через все муки, тысячу раз умерший и всё-таки оставшийся в живых, он будил гнев и сострадание.

Сняв мятое кепи, в позе глубокой мольбы, он произнёс медленно, с запинкой, мешая русские и польские слова:

— Пан полковник, я извиняюсь... скажите... я слышал, что здесь есть собака породы татра, самка... У вас на караульной службе... Я ищу собаку. Я потерял её в начале войны. Разрешите мне её посмотреть, пан полковник... И если она моя... если вы не против, забрать её... Это всё, что у меня осталось после войны, я извиняюсь...

Выяснилось, что он был в Освенциме. О том свидетельствовал значок на правой руке — шестизначный номер. На всём белом свете у него не осталось ни одной родной души. Жена и

дочь погибли в газовой камере, остальные близкие развеялись по миру, как ветер уносит сухие листья.

Собаки находились в глубине двора, каждая в отдельной вольере. Татра из-за её особой злобности была привязана на короткой цепи. Так считалось безопаснее. Ещё сорвётся!

Полковник распорядился, чтобы человека из Освенцима пропустили во двор. Он стал подходить к собакам. Увидел среди них одну, белую, прищурился, походка его вдруг сделалась неверной, казалось, вот-вот он упадёт. Вглядываясь напряжённо, он шёл к ней...

Собака заметила его ещё издали и, перестав лаять, натянула цепь. Она вся как бы стремилась, рвалась к нему и в то же время замерла, словно боясь ошибиться.

Было поразительно тихо. Перестали лаять другие собаки. Когда он подошёл ближе, всё так же молча, всё так же неуверенно шаркая ногами, ничего не видя, кроме маячившего белого пятна за проволочной сеткой, он тихо-тихо позвал её. Звука почти не было слышно, только шелест губ. Но она слышала. У неё мелко дрожали уши, ошейник врезался в шею, мускулы напряглись. Уши! В них сейчас было выражено всё — страстное, нетерпеливое ожидание чего-то невероятного, жгучая надежда, вера и затаённый страх, страх — вдруг это мираж, мелькнёт и исчезнет, и снова жизнь за сеткой... Собака переживала и чувствовала то же, что и тот, подхитивший к ней человек. И когда его шёпот донёсся до неё, она как-то непонятно, неестественно, боком и всем телом бросилась к нему. Он распахнул вольеру, кинулся к собаке, упал на колени, обнял её, она прижалась к нему, и так они замерли в этой полной трагизма и радости позе...

После он отвязал её и вывел.

Все смотрели, не дыша. У нашего Колосса Фарнасского было выражение изумлённого младенца: он точно прозрел.

Татру просто невозможно было узнать. Куда девались её свирепый, неприступный нрав, её злобность, её люта я ненависть ко всем окружающим! Она вдруг стала тихой, смирной, и только всё старалась заглянуть в глаза хозяину, ластилась к нему, как бы всё ещё не веря, что это он и они больше не расстанутся...

Полковник пожал ему руку. Его накормили, дали польские деньги — довольно крупную сумму в злотых. Он был врачом и теперь без конца повторял об этом, вперемежку со словами благодарности: «Дзенькую, дзенькую, пани...» Хотели напоследок накормить сытнее и собаку, но она не ела. У неё была спазма.

...Они ушли, когда солнце садилось. Провожать их вышла вся комендатура: полковник, его жена-переводчица, солдаты. Все неотрывно смотрели вслед уходящим. В закатных лучах чётко рисовались два удалявшихся силуэта, несколько раз они обернулись, потом прибавили шагу...

Колосс Фарнасский из рязанской деревни стоял в тени сарая, чтоб быть менее заметным (при его росте это всё равно было безнадёжным делом), улыбался и смахивал украдкой слезу: он, оказывается, успел привязаться к мохнатой злоке. Никто не осуждал его за слабость. У всех было празднично на душе, тихая радость светилась на лицах людей, прошедших через все невзгоды войны: каждый испытывал какое-то просветление и очищение. Люди всегда радуются и чувствуют себя счастливыми, когда человек возвращается к жизни: это их главное свойство. А на дороге ещё долго виднелись две тесно прижавшиеся друг к другу фигуры — человека и собаки...



Юрий Дмитриевич Дмитриев

Дунай

1

Николай был ещё далеко, а Дунай уже подбежал к сетке и повернул голову в ту сторону, откуда доносился запах самого дорогого для него человека.

Постояв секунду неподвижно, пёс тихонечко взвизгнул от нетерпения и заскрёб когтями по земле. Все движения его были чёткими, и только когда, побегав по вольере, Дунай наткнулся на миску с едой, стало понятно, что пёс слеп.

Человек вошёл в вольеру и остановился у двери. Оба — и человек и собака — были очень рады встрече, и им хотелось броситься друг к другу, но оба сдержались. Николай только ласково погладил большую лобастую голову собаки, а она ткнулась носом в его колени. Потом Николай сел на маленький чурбачок, а Дунай улёгся рядом и притих.

Вот уже несколько дней жил Дунай здесь, на окраине города, скучая и с нетерпением ожидая той минуты, когда ветерок донесёт запах хозяина. И когда, наконец, Николай входил в вольеру, садился на чурбачок, а Дунай ложился рядом, наступали самые счастливые минуты в жизни собаки. Они молчали, но молчание это было особым: им не нужно было слов, чтоб понять друг друга.

«Ну как, старина?» — спрашивал Николай.

«Ничего, спасибо, — отвечал Дунай, — только скучно очень».

«Потерпи, съешь-ка пока вот это», — Николай протягивал конфету.

«Спасибо. — Дунай осторожно брал лакомство из рук хозяина. — Только скоро ли ты возьмёшь

меня отсюда?» «Потерпи, потерпи...»

Потом они вспоминали. Да, им было что вспомнить. Четыре года — не шутка!

Иногда Николай вспоминал первые месяцы работы с Дунаем. Маленький, неуклюжий, лопоухий щенок беспомощно тыкался носом в пустую миску и жалобно повизгивал. Николаю очень хотелось взять его на руки, — но нельзя! Из крошечного неуклюжего щенка должен вырасти сильный, смелый, закалённый пёс.

На экзаменах Дунай получил высший балл, а начав работать в уголовном розыске, почти сразу же помог задержать крупных грабителей. В серой картонной папке с надписью «Дунай» появилась первая справка. Потом таких справок набралось множество — бухгалтеры аккуратно подсчитывали суммы, возвращённые Дунаем государству или отдельным лицам. Но Дуная это, конечно, не интересовало. Даже конфеты радовали меньше, чем четыре слова, спокойно сказанные хозяином: «Молодец, Дунай, хорошо. Спасибо!»

Правда, были у Дуная и срывы. За четыре года их было четыре. И каждый раз в одно и то же время: когда Николай уходил в отпуск. На этот месяц Дунаю давали другого проводника. Пёс был знаком с ним, даже симпатизировал ему, однако работать с ним не мог. А может быть, просто не хотел.

Но возвращался Николай, и всё становилось на свои места. Снова они патрулировали улицы, выезжали на задания и часто в телефонной трубке звучал голос самого главного: «Пришлите лейтенанта Алёхина с Дунаем».

Так проходили дни, недели, месяцы. И Дунай привык к мысли, что так будет всегда — ведь в этом году Николай даже в отпуск не пошёл. И вдруг случилось несчастье. Об этом последнем дне их совместной работы ни человек, ни собака не любили вспоминать.

Этот день начался как обычно. Как всегда, Дунай спокойно вскочил в машину, как всегда, уверенно взял след и, как всегда, смело бросился на преступника, не обращая внимания на выстрелы. Дунай успел повалить бандита, придавить его к земле и вонзить в плечо клыки. Что было потом, Дунай не помнил. Зато Николай помнил всё, до мельчайших подробностей.

Сначала он дежурил у операционной. Потом сидел около неподвижного, забинтованного Дуная, прислушиваясь к хриплому, напряжённому дыханию. Надежды было мало.

Просиживая часами около собаки, Николай думал только об одном: пусть выживет. И Дунай выжил. Но когда пёс после болезни впервые вышел во двор, у Николая сжалось сердце. Огромный, сильный, красивый пёс был жалок и беспомощен. Он растерянно вертел головой, осторожно, неуверенно ставил лапы, вздрагивал от каждого громкого звука. Когда он наконец добрался до Николая и прижался к его ногам, лейтенант почувствовал, что отважный Дунай дрожит.

Потом потянулись долгие, грустные дни. Николай наконец взял отпуск и с утра до позднего вечера возился с Дунаем. А придя домой, раскрывал взятые в библиотеке, собранные у товарищей и сослуживцев книги по ветеринарии и собаководству. Читал до рассвета, хотя понимал, что ветврач питомника прав — у Дуная повреждён зрительный нерв, и ему не суждено больше видеть. И всё-таки Николай надеялся. Он написал в Москву известным профессорам и упросил начальника питомника подождать с выбраковкой Дуная. Из уважения к Николаю, а может быть, к прошлым заслугам Дуная начальник согласился, но предупредил, что не может долго держать слепую собаку на государственном довольствии.

Через несколько дней Дуная перевели из основного питомника в загородный, а у Николая кончился отпуск. Теперь они виделись меньше: загородный питомник был далеко, и лишь перед работой Николай успевал ненадолго заглянуть к своему другу. Наконец пришёл долгожданный ответ из Москвы. Но он отнял у Николая последнюю надежду: профессора подтверждали, что вернуть зрение собаке невозможно. Николай сам пришёл к начальнику питомника и молча положил на стол письмо. Но начальник не стал его читать — по лицу Николая он всё понял. Вдруг Николай почувствовал, что где-то в глубине души начальник тоже верил, тоже надеялся и теперь ему так же трудно отдать роковое распоряжение, как Николаю подумать о нём. Но оба они, и подполковник и лейтенант, понимали, что это неизбежно.

...Николай сидел на низеньком чурбачке, как уже сидел тут не раз, а Дунай лежал у его ног. Всё было как и раньше — и те же молчаливые слова и те же воспоминания. И всё-таки было что-то новое. Собака чувствовала, как расстроен хозяин, видела, как дрожат у него руки.

Если бы Дунай умел говорить, то, наверное, сказал бы хозяину: «Ты не грусти. Скоро мы будем вместе. Я уже давно придумал. Потерпи немного!»

Но Дунай не умел говорить и только поднял вверх умную морду с мёртвыми неподвижными глазами. А хозяин вдруг встал, положил перед Дунаем целый кулёк конфет, потом наклонился, крепко прижал голову собаки к своему лицу и быстро вышел из вольера.

2

Здесь, в загородном питомнике, Дунай жил в вольере, огороженной с трёх сторон досками и с одной — сеткой. Тут стояла будка с железной крышей, хотя над самой вольерой тоже имелась крыша, пол был устлан досками, а в задней стене находилась дверь. Два раза в день в эту дверь входил человек с миской и ставил её перед Дунаем. Однажды — это было, кажется, в первый день — человек подвинул миску к самой морде собаки. Он, наверно, думал, что слепой пёс не ест, потому что не видит миски. Но Дунай прекрасно знал, где миска — ведь от неё шёл такой приятный запах! Нет, ему просто не хотелось есть.



Дунай не притрагивался к пище два дня. Потом пришёл хозяин и приказал есть. Дунай покорно вылизал миску и поднял голову, ожидая новых приказаний. Но хозяин только погладил его по голове и сел на чурбачок, а пёс лёг рядом. Через час хозяин ушёл. Дунай заметался по вольере, жадно вдыхая становящийся всё слабее запах хозяина, затем опять подошёл к чурбачку и лёг рядом, прижав к нему свою умную морду.

Однажды Дунай обследовал вольеру — тщательно обнюхивал каждый сантиметр пола, стен, сетки. Проходя мимо двери, Дунай случайно толкнул её. Дверь открылась. Пёс привык к тому, что дверь в вольеру всегда заперта, и входил и выходил он через эту дверь всегда с хозяином. Так было в том питомнике, а здесь... Дунай осторожно переступил порог. В нос ударило сразу

множество запахов, и, чтобы разобраться в них, пришлось остановиться. Разобравшись, пёс уже смело двинулся вперёд. Он ещё не знал, что находится во дворике, в который выходят двери нескольких вольер. Раньше, когда питомник был полностью заселён, в этот дворик выводили по очереди собак на прогулку. Теперь же весь дворик на целый день был предоставлен в распоряжение Дуная.

В дворике росла трава. Особенно густо разрослась она в углу двора. Там и начал Дунай делать подкоп.

Поначалу всё шло хорошо: земля оказалась мягкой и работа продвигалась быстро. Но когда Дунай проделал уже половину работы — рытьё пришлось прекратить: ночью прошёл сильный ливень и яма наполнилась водой. А когда снова можно было рыть, Дунай удвоил усилия, будто старался наверстать упущенное время.

Дунай, конечно, не задумывался, как он найдёт своего хозяина. Ему казалось, что стоит вырваться отсюда и они снова будут вместе. Иначе он не представлял себе. Весь мир был наполнен лишь одним человеком, и от него отделяли Дуная сетка и доски. Стоит преодолеть эти препятствия — и всё!

Работал Дунай только ночами, приближение которых чувствовал так же хорошо, как если бы мог видеть. Но сейчас, когда хозяин всё дальше и дальше уходил от вольеры, Дунай изменил своему правилу. Тихонько повизгивая, он бросился во дворик, нырнул в яму и яростно заработал лапами.

3

Тридцать — сорок метров от вольеры Дуная до выхода из питомника Николай почти пробежал. Он боялся, что не выдержит и вернётся к собаке, которая — Николай это знал — стоит сейчас у сетки и, вытянув шею, напряжённо ждёт... Николаю казалось, что Дунай был сегодня особенно грустным. И в повороте головы собаки, и в движении хвоста, и в походке — во всём поведении Дуная чудился Николаю упрёк.

Дойдя до угла улицы, Николай всё-таки остановился и оглянулся. Отсюда был виден только длинный дощатый забор, огораживающий питомник. За этим забором — Николай хорошо помнил — находился дворик, где выгуливали собак. Там, за этим забором, — Дунай... Неудержимо захотелось вернуться и хоть на секунду заглянуть в щель забора. Но вместо этого Николай далеко отшвырнул изжёванный окурок и зашагал в город. Он твёрдо решил взять Дуная к себе домой. Это, конечно, нарушение правил. Но бывают же и исключения из правил... И Николай уговорит начальника. Ведь отдали же в прошлом году выбракованного Боя юным натуралистам.

Звякнул подошедший трамвай. Несколько человек вышли из вагонов и не торопясь разошлись в разные стороны. Один из приехавших привлёк внимание Николая. Николай никогда не видел этого человека, но многие работники милиции хорошо знали по фотографиям главаря недавно ликвидированной банды. Ему одному удалось скрыться.

И вот сейчас он, этот бандит, которого разыскивают во многих городах, спокойно вышел из трамвая и направился в переулок.

Николай огляделся. Люди, приехавшие в этом трамвае, разошлись, а пришедшие на остановку уже вошли в вагоны. Не видно было и постового милиционера. А преступник уходил. Ещё несколько шагов, и он свернёт за угол. Раздумывать было некогда.

Дунай работал яростно. Раньше он позволял себе делать перерывы и отдыхать. Теперь копал без остановки, изредка тихонечко повизгивая от нетерпения.

Земля стала твёрже, чаще попадались большие камни. Но Дунай не обращал на них внимания, так же, как не обращал внимания на песчинки, забивавшиеся в рот и ноздри. С каждой минутой им всё сильнее овладевало какое-то смутное беспокойство.

Начав подкоп, Дунай понимал, что нарушает дисциплину. В другое время он этого не сделал бы. Но теперь всё было иначе. А сегодня, особенно в эти минуты, он вдруг почувствовал, что быть около хозяина именно сейчас ему просто необходимо: у Дуная появилось ощущение, сходное с тем, которое он испытывал в работе, — чувство долга.

В тот момент, когда преступник пересек линию железной дороги и вошёл в грязную, с покосившимися заборами и ветхими домиками улицу — последнюю улицу, оставшуюся от старого города, Дунай окончил работу. Сначала земля стала рыхлой, потом на голову посыпались комья, и наконец хлынул свежий воздух. Последнюю часть лаза Дунай расширять не стал. Просунув голову в открывшееся отверстие, он протиснул плечи и вылез наружу.

Несколько секунд Дунай стоял неподвижно у забора, прислушиваясь к множеству звуков, разбираясь в запахах. По этим запахам Дунай мог бы восстановить жизнь улицы — со своей собачьей точки зрения, конечно, — не только сегодняшнего дня, но определить, чем и как она жила вчера. Однако сейчас Дунаю было не до этого. Непонятное волнение нарастало с каждой минутой. Может быть, волновался он от того, что наконец вырвался на волю, может быть, от того, что скоро встретится с хозяином, может быть, еще от чего-то. Постояв немного, он низко опустил голову и побежал вдоль забора. Уже через несколько шагов Дунай понял, что взял правильное направление: он наткнулся на маленький предмет, от которого шёл запах хозяина, смешанный с другим, острым, неприятным, но очень знакомым запахом.

Внимательно обнюхав окуроч, Дунай через секунду нашёл и след хозяина. Теперь всё было в порядке.

Опустив голову к самой земле, чуть ли не касаясь её носом, Дунай шёл по следу крупной лёгкой рысью.

Солнце уже нагрело землю, и от неё исходило множество запахов. Пахло бензином и кошками. А вот тут пробежала какая-то собачонка.

Дунай любил работать летом и в тёплую погоду. Тогда очень ясно слышны все запахи и можно всё понять, всё сделать для того, чтобы хозяин сказал: «Молодец, Дунай, хорошо. Спасибо!»

Дунай старался и зимой. Но зимой, особенно в сильный мороз, запахи пропадают почти совсем или становятся едва уловимы! К тому же стынут лапы, а между пальцев появляются противные льдинки, из-за которых больно ступать, а выгрызть их не всегда успеваешь.

То ли дело летом!

...В нос ударил сильный запах резины. Неприятный запах! Дунай очень не любил его. Этот запах может сбить даже опытную собаку. Но не Дуная, особенно когда он идёт по следу хозяина.

Впереди что-то сильно звякнуло, однако Дунай не обратил на это внимания. Сейчас всё его

существо сосредоточилось на одном — не потерять след. Несмотря на то, что хозяин проходил здесь совсем недавно, множество следов появилось уже после него. К тому же люди имеют неприятную привычку мазать ботинки и туфли чем-то очень пахучим.

Вдруг след исчез! Дунай бросился в одну сторону, в другую; натыкаясь на испуганно шарахающихся людей, он метался по площади, всё больше и больше приходя в ужас. След появился так же неожиданно, как и исчез. И по тому, что ветер стал задуть с противоположной стороны, Дунай понял, что хозяин круто изменил маршрут. Но не это удивило Дунаю. В том же направлении, куда вели следы хозяина, шли другие, заинтересовавшие пса. Некоторое время, идя по следу хозяина и второму, чужому, Дунай мучительно вспоминал, кому же принадлежит этот знакомый и в то же время чужой запах. А когда наконец вспомнил, шерсть на загривке встала дыбом, а из горла вырвалось глухое злобное рычание.

Дунай вспомнил. Это было незадолго до того, как кто-то отнял у него свет. Дунай жил в новом питомнике, видел всё вокруг и часто выезжал с хозяином на работу. Однажды ему приказали взять след, и он, как всегда, быстро и чётко выполнил приказ. Но пройдя немного, он потерял след. И сколько ни пытался найти снова — возвращался назад, кружил на месте, делал «скидки» в стороны — следа не было. Дунаю было стыдно — но это ещё полбеды. Труднее было перенести огорчение хозяина. Может быть, поэтому Дунай так хорошо запомнил тот запах, может быть, поэтому так разозлился, вновь почувствовав его. Во всяком случае, он уже не мог думать ни о чём, кроме того, что должен исправить свою ошибку, совершённую несколько месяцев назад.

5

Николай не сразу понял — заметил ли его преступник или просто случайно пошёл быстрее. Но скоро сообразил: заметил. Преступник всё ускорял и ускорял шаг. А улица, как назло, была пустынна. Самому брать преступника очень рискованно. И упустить нельзя ни в коем случае. Николай ускорил шаг.

Бандит оглянулся и побежал. Он бежал легко, ловко перепрыгивая через рытвины и канавы. Но Николай не отставал. В конце улицы, посреди двора с настежь открытыми, перекосившимися воротами, стоял старый ветхий домик. Рядом, в нескольких метрах, — дощатый сарай. К этому домику и направился бандит. У ворот он на секунду остановился, оглянулся на Николая и бросился к сараю. Ещё издали в открытую дверь Николай увидел окно в противоположной стене сарая и сразу понял замысел преступника: проскочить сарай, оттуда через окно — на огород, а с огорода — в рощу, которая была совсем рядом. Правда, тут же мелькнула мысль: не ловушка ли? — но раздумывать было некогда. У самого сарая Николай замедлил бег и почти шагом вошёл в дверь. Что-то зашелестело, и, инстинктивно отклонившись, Николай почувствовал, как обожгло руку. В рукаве сразу стало мокро. Бандит снова ударил ножом, но на этот раз Николай успел правой рукой перехватить руку бандита и крепко стиснуть её. В ту же секунду Николай получил сильный удар в раненое плечо и, почти потеряв сознание от боли, выпустил руку бандита. И снова в пыльном солнечном лучике сверкнул нож. Николай опять уклонился и изо всей силы ударил бандита головой в подбородок. Глухо звякнул выпавший нож, и, стукнувшись о стену, преступник медленно сполз на пол. Преодолевая головокружение, Николай поднял нож и шагнул к бандиту.

Выстрела Николай не услышал. Яркая вспышка лишь на мгновение ослепила его, и, почувствовав сильную боль в боку, он начал терять сознание. Как сквозь толстую стену, он услышал ещё несколько выстрелов, и, сделав над собой огромное усилие, открыл глаза.

Сначала он решил, что бредит. Но это не походило на бред. Значит, он долго лежал без сознания. В сарае было много людей в милицейской форме. Над Николаем кто-то наклонился, что-то говорил ему. Слова доносились будто издалека, и Николай никак не мог понять их смысла. Может быть, сильная боль в руке и боку мешает понять, что ему говорят? Он с трудом повернул голову и увидел... Дуная. Распластавшись на полу, Дунай тяжело, с хрипом, дышал, медленно двигая передними лапами по скользким от крови доскам пола.

Вокруг разговаривали люди. Они говорили, что собака пришла вовремя, что она получила пять пуль и всё-таки не выпустила преступника, что если бы не она...

...Николаю показалось, что он крикнул громко, оглушительно, но с губ слетел только слабый шёпот. Однако Дунай услышал — уши его чуть дрогнули. Пёс с трудом повернул голову и опять слабо пошевелил ушами. И Николай понял, что хотел сказать ему Дунай. Конечно же, пёс хотел ободрить хозяина, утешить, сказать, что теперь всё в порядке, теперь они вместе.

«Ты ведь меня не отправишь назад? Правда?»

«Конечно!» — хотел крикнуть Николай, но не успел. Крупная дрожь пробежала по телу Дуная, он вытянулся, последний раз шевельнул большой сильной лапой и затих.

Навсегда.

Виталий Титович Коржииков

Буран

В доме появился человек — в пограничной фуражке, в крепко пахнущих сапогах, поднял Бурана над головой и спрятал на груди. А проснулся Буран уже среди высоких сопок во дворе, где оказалось много-много собак — и больших и маленьких.

Было их здесь больше, чем людей. Они все лаяли, и от этого хотелось и лаять, и валяться, и прыгать. Можно было потрепать за ухо какого-нибудь щенка и вместе с ним барахтаться на траве до тех пор, пока не приносили тарелку с вкусной едой.

Но скоро эти весёлые глупости кончились. Бурана и товарищей взяли на поводки, которые они тут же стали грызть. Буран тоже куснул раз-другой, но вспомнил, как красиво ходят крепкие взрослые собаки, и сам пошёл на поводке рядом с вожатым — крепко и важно. А вожатый сказал:

— Вот и хорошо! Молодец!

Молодец! К этому слову он скоро привык, как к собственному имени. За бум — молодец, за барьер — молодец. Потому что всё, что у других не получалось, у него выходило. А если получалось не сразу, то он сам начинал всё делать снова, потому что любил, чтоб у него получалось всё.

И за это вожатый ещё радостней говорил ему:

— Молодец! Ты смотри, какой молодец! Просто умница. Правда, и с молодцами, если всё время твердить «молодец, молодец», могут случаться неприятности.

Стал Буран молодым крепким псом. Он уже хорошо знал и как берут нарушителя, и как прорабатывают след: кому он принадлежит, какого размера, сколько времени назад оставлен.

Это-то Буран определял лучше других. И случалось, люди говорят: «Три часа назад!» — а Буран прикидывает: «Нет. Три часа — это половина ночи. А след оставлен ночь назад!»

След он брал хорошо. Как-то его вожатый — первый вожатый — проложил след по верхам валунов, а не по самой земле. Пустили собак: «Ищите!» Никто не нашёл. А Буран понюхал, понюхал: след вроде не по траве идёт, а в воздухе качается. И чем ближе к камню, тем запах его сильнее. Вспрыгнул Буран на валун — и пошёл с камня на камень!

С той поры стали его отличать.

А начальник одной заставы посмотрел и говорит:

— Ну что ж, неплохо работает. Правда, были собаки, которые за полкилометра лезвие находили!

А вожатый сказал:

— Хотите, окурок за километр спрячу.

— Ну, окурок! Окурок самый бездарный лодырь унюхает.

— Давайте гвоздь!

Вожатый дал понюхать Бурану гвоздь — Буран и сейчас ещё помнил его кислый железный запах, — потом пустил пса с поводка, и через полкилометра Буран вытащил его за сараем из старой рисовой соломы...

Вот когда на Бурана посыпались почести. Лучшую похлёбку — ему, лучший кусок — ему. На показ — его. Он даже стал посматривать на бывших приятелей свысока.

И собаки стали поглядывать на него с недовольством: «Как бегать — кто-то другой, а как показывать и прикармливать — так Бурана».

Это Бурану не понравилось. Но за что его невзлюбили, он понял не сразу.

А вот вожатый, хороший человек, понял с ходу и сказал:

— Пора ему на работу. Портят собаку. Ишь, аристократа сделали. Работать надо!

И повёз Бурана на заставу.

Вот тут-то и попал Буран в историю. Но, может быть, без этой истории и не стал бы он настоящей честной собакой. А чтобы быть настоящей, собаке нужно чувствовать себя честной.

Работал-то Буран честно всегда, когда бы ни подняли. И в стужу, и в дождь, и в снег.



Но рядом с ним в собачнике были ещё два пса. Пират и Сардар. И между ними была не только железная сетка, но и глухая неприязнь.

Собаки не говорят, но мысли и чувства друг друга понимают и на расстоянии. Буран сразу уловил, как старый, с порванным медведицей ухом Сардар бросил на Пирата презрительный взгляд, который на человеческом языке означал бы приблизительно: «Вор и пройдоха!»

Бурану и самому сытый и нагловатый Пират не понравился сразу. Выглядел он и важным и высокородным, но, глядя на него, Буран вспомнил вдруг далёкую-далёкую картину.

В питомнике, в том первом его питомнике, ходили рядом разные псы — и добрые и заносчивые, и очень крепкие и послабей. И смотрел он на них на всех с почтением и уважением.

Однажды, когда он катался с приятелем по траве, вдруг, в один миг, что-то произошло. Несколько собак — и недавно гордые, и заносчивые — сразу забились в клетки и, поджав хвосты, трусливо затыкнули и заскулили.

А другие рванулись вперёд, ошетинились, в глотках их заклокотало, и они приготовились к бою. На рыжей сопке появился громадный полосатый зверь и издал отрывистый, сотрясающий горы рык.

Но собаки ощерились и бросились вперёд так, что зверь, рыкнув потише, хлестнул себя хвостом по бокам — и ушёл.

И маленький Буран почувствовал себя крепко и гордо, потому что он тоже, не испугавшись, лаял изо всех сил и готов был броситься в драку. Он был с теми, кто выступил против врага!

Пират, как ему показалось, сразу поджал бы хвост.

Не понравилась Бурану его морда и то хвастливое выражение, с которым он смотрел вокруг. «Подумаешь, работяга! Сейчас я этого Сардара подразню, я его облапошу».

Он даже поглядывал на Бурана с приглашением: может быть, подразним вместе?

Но Бурану такие выходки были не по нраву. Правда, Сардар тоже не совсем пришёлся ему по

нутру. Иногда Бурану казалось, что старый пёс зря скандалит и бросается на сетку нахального Пирата, потому что тому постелили больше сена, или рычит, оттого что клетку у Пирата вычистили раньше и лучше, чем у него.



И только потом он понял, что старый Сардар не брюзжит, не скулит, а требует справедливости. Нельзя делать хорошее тому, кто нечестно живёт, плохо работает и готов утащить чужой кусок!

А сам Сардар работал очень хорошо. Даже когда лежал у себя в клетке, он работал.

Положив голову на лапы, он всё равно работал. Носом и умными глазами он прорабатывал свою тысячу раз исхоженную территорию. Сардар всегда держал её всю в уме и даже на расстоянии видел и чувствовал всё, что там происходит: и где идёт осторожный олень, и где рожет корешки кабан, и где потопал за виноградом медведь...

И если что-то было не так, он приподнимал голову и ворчал: почему его не зовут по тревоге? Пора наводить порядок!

Он так чётко всё представлял, что лежавший за перегородкой Буран тоже начинал видеть ту территорию. Он улавливал в это время всё, будто у него были глаза Сардара.

А вот когда он улавливал чувства Пирата и начинал смотреть на всё его глазами, у Бурана словно бы под боком появлялась куча свежего сена и начинала дымиться вкусная миска с похлёбкой. Иногда это была почему-то миска Сардара.

А почему — Буран увидел позднее.

Однажды собакам принесли миски тёплой похлёбки. Сардар, понюхав, отошёл в угол, чтобы запахи не дразнили, пока похлёбка не остынет, и стал вглядываться в свою территорию, работать.

И тут, приподняв край железной сетки, Пират втащил зубами миску Сардара к себе и стал жадно хапая, хлебать его еду, ехидно глядя, как будет вести себя Сардар. Возмущённый Сардар взвыл от негодования. Он бросался на сетку так, что прибежали и вожатый и повар.

Но за это время хитрый Пират успел мордой протолкнуть пустую миску на место, и повар, показав на неё вожатому, сказал:

— Старый стал твой Сардар. Лопать горазд, а бегать дудки!

И это было несправедливо, потому что всё было как раз наоборот.

Когда Буран встречал плутоватый взгляд Пирата, в голове его тоже начинали твориться непонятные вещи. Он вдруг заранее хитрил, не хотел идти по тропе, его подмывало вытянуться и раскинуть жалобно лапы. Буран начинал на себя ворчать и огрызаться. Это были не его привычки! Но он уже знал — теперь точно знал, что сейчас Пират будет притворяться.

Он и в самом деле однажды видел, как веселившийся недавно Пират вышел на тропу, понюхал, понюхал, потом заметался, взвизгнул и отчаянно стал смотреть по сторонам, не понимая, куда это делся след.

Вожатый потянул его дальше, но через каких-нибудь сто метров повторилось то же самое.

Вожатый пнул Пирата, и Буран обрадовался, потому что это было справедливо! Можно было валять дурака на учебном занятии, когда от следа пахло ленью, потому что какому-нибудь человеку тоже было лень прокладывать этот след. Но хитрить, прикидываться на службе было подло. И вожатый так и сказал: «Ну и подловатый пёс!»

Старый Сардар такого себе никогда бы не позволил! Он бежал лучше всех, в любую погоду, когда сытый Пират, прикинувшись захворавшим, валялся на мягком сене.

Как-то целую неделю шли на участке холодные дожди. И так же часто, как шли дожди, приходилось псам бегать в наряд. Но теперь не трём псам, а двум. Потому что как только пограничники подходили к Пирату, который совсем недавно хитро и нагло смотрел на соседей, он тут же ложился, клал на вытянутые лапы морду и начинал кряхтеть, скулить, ему щупали нос, уши, и вожатый разводил руками:

— Болен!

И если бы Буран мог, он крикнул бы: врёт, он не болен! А болен Сардар! Послушайте, как он хрипит!

Но Сардар скулить не привык. Он поднимался вместо косившего глазом Пирата и бежал — в мокрые кусты, в камыши, в злые колючки, потому что его территория должна была быть в

порядке!

Как-то под утро после ночной работы Буран вздремнул и радостно зажмурился: он увидел во сне тёплый большой город и весёлые полосатые рубахи с полосатыми лапами. Но вдруг в город ворвался нарушитель, за которым он погнался, началась страшная погоня, какой Буран никогда не видел и не знал.

Он открыл глаза и понял, что с его сном смешался сон Сардара. Это Сардар мчался за противником из последних сил, у него колотилось сердце и свистело в груди.

Уже наступило утро, а Сардар всё гнался, сердце его колотилось, и погоне не было конца... Он должен был догнать нарушителя, хотя, может быть, бежал в последний раз.

Настоящие собаки всегда чувствуют этот последний раз, и Буран волновался и скулил, беспокоясь за товарища.

А беспечный Пират сидел себе как ни в чём не бывало, весело вертел головой, и, замечая это, Буран наливался злостью, шерсть на нём поднималась, и сдерживал он себя только потому, что пограничная собака должна уметь держать себя как положено.

Но вот к клеткам подошёл повар, сунул в клетки миски с похлёбкой.

И, почувствовав, что сейчас должно произойти, Буран насторожился.

Пират протиснул морду в клетку всё ещё гнавшегося за врагом Сардара, потянул миску к себе, и в тот же миг, перемахнув через ограду, Буран выбил дверь его клетки и всеми зубами впился в подлую морду вора...

Сбежавшиеся пограничники едва вытащили его из клетки и взяли на цепь. Приезжий инструктор службы собак развёл руками: «Ничего не понятно!» А вожатый — первый вожатый Бурана — заметил в клетке Пирата миску соседа и сказал: «Почему не понятно? Всё понятно!»

И когда днём Пират без жалоб старательно пошёл по следу, вожатому тоже всё стало понятно.

А Буран сидел на цепи и чувствовал себя настоящей, самой настоящей пограничной собакой...

Юрий Яковлевич Яковлев

Вдвоем с собакой

Я иду по родному городу, а рядом с мной, не отставая ни на шаг, идёт моя собака — Динго. Мы идём по тротуару, шагаем по мостовой, перебегаем перекрёстки. Время от времени мы понимающе смотрим друг на друга. Так, по крайней мере, кажется мне.

В моей собаке, помимо стати и красоты, — внутреннее благородство. Его излучают глаза, оно угадывается в лёгкой уверенной походке, в плавных поворотах головы. И в том, что она идёт рядом, не отставая и не забегая вперёд.

Я иду с Динго и краешком глаза слежу за тем, какое она производит впечатление, прислушиваюсь к замечаниям, которые в её адрес отпускают встречные.

Многие улыбаются ей. Многие — это, конечно, ребята — смотрят с открытыми ртами, и по этим открытым ртам я безошибочно определяю, что они дорого отдали бы, чтобы стать обладателями такой собаки. Некоторые пугливо отходят в сторонку. Есть такие, которые

смотрят холодно, неодобрительно. Этих ничем не проймёшь — ни красотой, ни благородством. Они, вероятно, не радуются ни первому листку на дереве, ни первой снежинке на рукаве пальто. Они как бы выросли на засушливой почве, очерствели...

Собака помогает мне на ходу разбираться в людях. Конечно, не точно — очень условно, очень относительно. Но после того, как я пройду по городу со своей собакой, у меня пробуждается радостное чувство оттого, что по всем улицам ходят хорошие, равнодушные люди. Они отзываются на взгляд моей собаки, как на знакомый пароль.

Иногда мы делаем привал. Я стою, а Динго ходит вокруг, присматривается, прислушивается, принюхивается. Тогда возле нас обязательно кто-нибудь остановится. Например, мальчишка.

— Это пограничная собака? Да? Она задержала нарушителя? Да? Ей за это дали медали? — Глаза горят от восторга и любопытства.

— Нет, она не пограничная. А медали ей дали за экстерьер.

Что такое «экстерьер», он не понимает. И я пытаюсь объяснить популярнее:

— За красоту.

— А разве за красоту дают?

— Собакам дают. А ещё у неё медали за дрессировку.

— Значит, она учёная?

Мой собеседник ухватывается за это. Ему обязательно надо как-то раскрыть необыкновенные достоинства этой красивой сильной овчарки: она не пограничная, но зато учёная. Это тоже не плохо.

Он стоит молча. Потом вздыхает и нехотя уходит.

Его сменяет пожилая женщина:

— У нас до войны была такая собака. Её взяли в армию. Она на спине таскала рацию. Погибла под Смоленском. Нам прислали похоронную.

— Разве на собак тоже присылали... похоронную? — удивляюсь я.

— А как же, — говорит женщина, и глаза её становятся грустными...

— Ах ты, моя красавица, ах ты, умница, — это уже возле нас остановилась старушка. — И погулять тебе негде. Ходишь по тесным улицам.

На меня она не обращает внимания. Она говорит с собакой. Ну что же, с собакой тоже можно говорить.

Вообще с собаками хорошо говорить. Они не спорят, не перебивают. Внимательно слушают. Наклонят голову набок и слушают. И кажется, всё понимают.

Навстречу нам идёт молодой папа с маленьким сыном. Папа длинный и худой, а сын круглый, краснощёкий. Он катится рядом, как колобок.

— Вот собака, — говорит папа, — она тебя съест!!

Маленький человек не очень-то верит в отцовское предостережение. У него своё определённое мнение: собака — это хорошо!

— Хочу собаку, — заявляет он.



И долговязый папа длинной рукой чешет затылок. Мы идём дальше. Упрямый колобок смотрит нам вслед. Он нехотя катится за папой. Я чувствую — зёрнышко заронено. Взойдёт оно или зачахнет? Молодой папаша ничего не замечает, ничего не понимает. Он тащит сына за руку. Ему важно нагулять румянец у сына, и он нагуливает.

В жизни каждого человека обязательно должна быть одна собака. Собака, которая спасла его от опасности, собака, которая скрасила одиночество. Или просто пробудила к жизни скрытые силы, нежные и трепетные, необходимые, как воздух, насущные, как хлеб, — силы любви ко всему живому. Может быть, в жизни человека собака обиженная, побитая...

В моей жизни собака — это новый, с её помощью открытый горизонт жизни. Новая запевшая струна. Новые переживания, новые страдания и радости.

Всё началось со случая, который глубоко потряс меня. Отец убил у сына собаку, сын возненавидел его. Эта история два года не давала мне покоя. Потом родился рассказ «Он убил мою собаку». После этого рассказа я почувствовал, что не могу жить без собаки. И тогда появилась Динго. Не вымышленная, не сочинённая. Одномесячный щенок, которого я принёс за пазухой в дом.

А потом из-под пера вышли рассказы «У человека должна быть собака», «В гостях у собаки», целая «звериная» книга «Я иду за носорогом». И вдруг открытие: собака должна сослужить ещё одну службу человеку — она должна пробудить в сердце его ребёнка доброе чувство. Это не моё открытие. Это древнее, дивное открытие народа, многих народов. Я пережил его заново.

Потерялась собака. Потерялась и попала в беду. Какой-то негодяй пырнул её на улице ножом. Раненое животное истекало кровью. Мимо шли два мальчика. Они подняли собаку и принесли её домой. Вызвали ветеринарную «скорую помощь» — синий крест. Потом началась борьба за жизнь раненой собаки. Были минуты отчаяния. Были бессонные ночи. Два добровольных санитаря, два маленьких брата милосердия на корточках сидели у подстилки, на которой лежала раненая собака.

А когда собака поднялась на ноги, мальчики принялись за поиски её хозяина. И нашли его, хотя это оказалось нелёгким и долгим делом. Спасённая из беды собака очутилась в родном доме.

Вот и вся история.

Но у неё есть продолжение. Это продолжение уходит в будущее. Я представляю себе, какие люди вырастут из двух мальчиков, которые могли бы пройти мимо собаки, лежащей на мостовой, но не прошли. Дни, проведённые у подстилки раненого животного, наверняка пробудили к жизни большие добрые силы, которые заложены в каждом человеке, но которым не всегда дано проявиться. Я глубоко уверен, что эти два мальчика сделают в жизни много добрых дел людям, с которыми судьба сведёт их.

Пробуждение доброго. Это процесс тонкий, требующий большого участия всех общественных сил. Ведь доброе может так и не пробудиться. Может, пробудившись, погибнуть. На первых порах это чувство слабое, хрупкое. Но если помочь ему взойти, дать ему окрепнуть, оно станет великой силой.

Я назвал свою собаку Динго, но не в честь её диких родичей — австралийских собак. Я назвал её в честь любимой книги — «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» Рувима Исаевича Фраермана. Динго — это полное, паспортное имя. А вообще дома мою собаку зовут Доня, Донюшка. Оставшись вдвоём с ней, я разговариваю, рассуждаю. Собака, естественно, существо молчаливое. И это делает меня малословным. По возможности, кратким и точным. Я пишу, а собака сидит рядом. Она как бы заглядывает в мои мысли, прислушивается к моим чувствам. А я как бы выверяю по ней мысли и чувства. Так, шагая с ней по тротуару, открываю для себя незнакомых людей. Если человек жесток к собакам, он жесток и к людям. Добро, как и зло, едино даже в самых своих сложных проявлениях.

— У вас собака заслоняет человека, — порой говорят мне люди.

Я пожимаю плечами. Я хочу, чтобы собака сделала человека лучше и добрей. Я думаю только о человеке. Я хочу, чтобы собака сослужила ему ещё одну добрую службу.

Идёт дождь. Сыплет снег. А мы с Доней идём по улицам родного города. Мы идём, и люди провожают нас взглядом. Одни одобрительным, другие скептическим. Люди неодинаковы. Они и не должны быть одинаковыми.

Академик Павлов поставил собаке памятник за то, что она помогла ему сделать величайшее открытие. Может быть, со временем у нас появятся ещё памятники и другим собакам. Например, памятник собакам, охраняющим границу, или собакам-минёрам, санитарам, связным и тем, что шли со взрывчаткой на спине навстречу фашистским танкам. А может быть, один из памятников будет воздвигнут нашему четвероногому другу за то, что он помог разбудить в юных сердцах великое чувство гуманизма, доброты, любви ко всему живому...

Пошли, Донюшка, дальше!